

НОВОСЕЛЬЕ

2

НЬЮ-УОРК

1 9 4 3

NOVOSSELYE

A RUSSIAN LITERARY MONTHLY

Editor S. PREGEL

Editorial and Administrative Offices:

2 EAST 86 STREET.

NEW YORK CITY

Telephone: RHineland 4-1800

СОДЕРЖАНИЕ:

От редакции	3
Н. Тихонов. Яблоня	4
Ирина Кунина. Петербург — Ленинград	7
София Прегель. Пиковая Дама. За Ленинград	15
Борис Романов. На Масленной в Петербурге	20
М. Железнов. Петрополь	28
Кира Славина. Стихи	29
М. Добужинский. Облик Петербурга	31
Л. Камышников. Литературные силуэты	38
Ю. Сазонова. Слово о Петербурге	46
Вл. Лебедев. Одна из особенностей пушкинской эпохи	54
А. Дюбуа. Питер и Петербург	61
С. Бертенсон. Образы прошлого	67
М. С. Защитники Ленинграда	75
Вечер «Новоселья»	81
Поправка	82

Обложка работы художницы А. Прегель.

Издательство «НОВОСЕЛЬЯ» просит лиц, срок подписки которых уже истек, немедленно прислать подписную плату, чтобы обеспечить регулярную присылку журнала

Со всеми типографскими заказами обращаться:
Rausen 417 Lafayette Str. N. Y. C. Phone: GR. 7-6612
Residence: AU. 3-0310

НОВОСЕЛЬЕ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ
под редакцией С. ПРЕГЕЛЬ

№ 2 (2-ой год издания)

АПРЕЛЬ 1943

ОТ РЕДАКЦИИ

Настоящий номер «НОВОСЕЛЬЯ» посвящен Петербургу-Ленинграду, городу, созданному Петром, ставшему в 19 веке хранителем и воплощением русской культуры и являющемуся ныне символом героизма и величия русского народа в его борьбе за свободу и независимость родины. В образе Петербурга — Ленинграда соединяются все лучшие традиции нашего прошлого, все муки и сила духа настоящего, все упования на светлое будущее.

Совершенно естественно, что большинство авторов, согласившихся участвовать в этом номере, ближе знакомы с Петербургом и посвятили ему свои статьи. Желая дать и облик современного Ленинграда, «НОВОСЕЛЬЕ» решило нарушить свое обычное правило и перепечатывает ленинградский рассказ одного из крупных советских писателей, Н. Тихонова.

Н. ТИХОНОВ

ЯБЛОНЯ

В бомбоубежище погас свет. Оно сразу наполнилось криком и шумом отодвигаемых скамеек и стульев, потом какой-то голос прокричал:

— Тише, товарищи, сидите спокойно.

И люди стали сидеть в темноте. Налет длился уже несколько часов. Художник сидел на складном стуле, с которым он выезжал на летние этюды. Сейчас этот легкий, трехногий, его собственной конструкции стул очень пригодился. Художник жил в маленьком домике, одноэтажном, старом, одном из тех многих ветеранов, какие еще стоят на широких улицах Петроградской стороны. Перед домиком был сад и в саду старый запущенный фонтан со ржавой трубой и гранитом, покрытым мхом. Сейчас глубокий снег скрыл его, и художник менее всего думал в эти часы о домике, саде и фонтане.

Его сознание смутно регистрировало разговоры соседей, восклицания ужаса и удивления, плач детей. Плотный, черный мрак закутал его с головой, как плащ.

— Надо было давно уехать, — сказал кто-то раздраженно, и он подумал: да, в самом деле, какая глупость, что он не уехал. Никакой трусости в этом нет. Он сейчас рисует плакаты, и они пользуются успехом, они висят на улицах и в клубах, в землянках на фронте, — это верно. Но ведь он мог их рисовать не обязательно в Ленинграде. Да и условия работы здесь стали почти нестерпимо трудными. Холодная мастерская, окоченевшие пальцы плохо держат карандаш, печурка ничего не греет, никак не можешь согреться. Бомбоубежища у него в маленьком домишке, естественно, нет, он бежит в соседний огромный дом отсиживать долгими часами, он

простужен, устал, кашляет, недоедает уже давно. Руки покрылись какой то корой от холода. Это ревматизм или что-то вроде. Ему трудно ходить на большие расстояния от дома до союза художников, трамвая нет, вот и свет погас. А ему рассказывали, что стоит от'ехать на Волгу, и там города, залитые светом, теплые комнаты, есть в изобилии еда, там живут его товарищи, которые во-время уехали... Да, да, какая глупость сидеть здесь в темноте, в холоде, в голоде — и ждать бомбы на голову...

Время от времени дом содрогался сверху донизу, и тогда все затихали, а потом несколько минут царил дикий галдеж. Понемногу восстанавливалось спокойствие. Мрак, казалось, сгущается еще больше. Художник потерял представление о времени. Он вошел в подвал вечером, сейчас уже, вероятно, поздно. Налет безобразно затянулся. Опять долетел гул удара, опять и опять... Бросают бомбы, — тоскливо подумал он. Вот и город, который он так любил, изменился. Его жалко до боли, до слез. Как все это мрачно и грустно. Вот сейчас кончится эта тревога — он выйдет на улицу и, может быть, увидит новые развалины домов, пожары, груды обломков... Эти квартиры, где висят в воздухе кровати и шкафы, зацепившиеся за балки, — жалкий инвентарь человеческого быта, неустойчивого, случайного...

Тонко заплакал в углу невидимый ребенок. Художник стал представлять себе сквозь мрак эту детскую головку с широко открытыми глазами, полными слез. Может быть, он спал и проснулся, заплакал, испугавшись темноты. Нарисовать бомбоубежище — вот почти такое, только освещенное свечами. Это дрожащее пламя, пробегающее по лицам, черные тени на стене, настороженные фигуры, старухи, кутающиеся в старые шубы, молодые люди, шушукующиеся в углу, дети, которых прижали к груди молодые матери...

Свет блеснул на лестнице, и со двора донеслись в открытые двери звуки отбоя. Тревога, наконец, кончилась.

Художник не торопился выходить. Он подождал, пока

толпа втянулась в узкий проход, и ушел почти последним, ощупью, держа за холодные стены.

Он боялся, что он увидит развалины вот сейчас, тут же рядом. Он думал, что он, так же спотыкаясь, проберется к своему маленькому домику, до которого два шага.

Он вышел на улицу и остановился, недоумевающий и растерянный.

Все было залито ослепительным, могучим лунным светом. Огромная почти фиолетовая луна в морозной дымке висела над брандмауерами, в высоте зелено-синего неба, на котором расположились курчавые, белые, как отары белых меринсов, облака. Небо, казалось, звенело от холода и света. Пустые стены больших домов, выходивших на пустырь, были как бронзовые. Снег сладко хрустел. Атласноглубые тени лежали на богатых сугробах вдоль улицы. Такая обычная, она сияла неизвестной прелестью.

Он шагнул к своему домику и не мог узнать места. Он очутился в саду, который был сказочен, как сон. На деревьях лежал иней в три пальца толщины. Каждая веточка была как бы отделана искуснейшим мастером, искрилась, источала сияние, непонятные огоньки бегали по верхушкам, где лежали соболиные шапки снега, казалось, деревья одеты для торжественного танца, и они сейчас поведут хоровод вокруг художника, сомкнув свои сверкающие руки и потряхивая алмазами во все стороны.

Посредине этого чудесного сада стояло дерево обворожающей красоты. Все, что украшало другие деревья, блески, сиянья, искры, алмазы, — все было приумножено на нем и все достигало совершенства, какого не могут сотворить человеческие руки. Дерево горело холодным, изумительным огнем, оно, как белый костер, выбрасывало снежное пламя, и пламя это ни на мгновение не прекращало своей огненной игры.

Художник стоял, ничего не понимая, погруженный в не-

мое созерцание. Он не узнавал места, не мог понять, как же он очутился в саду и где он вообще находится.

Он оглянулся. По улице шел народ. Слышался молодой смех и веселое скрипение снега. Он снял шапку и секунду стоял с закрытыми глазами. Он пришел в себя. Раскрыв глаза, он как бы вернулся на землю. Он стоял в собственном саду, пройдя прямо к фонтану, занесенному снегом. Как же он миновал забор, огораживавший сад? Забора никакого не было. Могучая воздушная волна взрыва унесла его, разбросав далеко по улице, начисто смела все эти старые, дырявые доски. Дерево ослепительной красоты была его знакомая, старая яблоня, стоявшая всегда скромно у фонтана.

Он оглянулся и увидел город, залитый фиолетовой колдовской луной. Прекрасный город вставал вокруг него в неизмеримой, в неповторимой красоте.

Художник смотрел на него, как будто родился заново. Все его мрачные мысли, раздиравшие его там, в подвале, исчезли. Как? Уехать из этого изумительного мира красоты, героизма, труда, великолепия! Разве отсюда уедешь? Никогда и никуда.

Этот город надо защищать до последнего вздоха, до последней капли крови, надо отбросить от его стен врага, надо истребить его без остатка, а уехать — нет, никогда! И художник все стоял и смотрел и не мог насмотреться и надивиться, полный великой радости и гордости.

ИРИНА КУНИНА

ПЕТЕРБУРГ — ЛЕНИНГРАДУ *)

У каждого из нас хранится в памяти какая-то своя собственная примета, вокруг которой толпятся воспоминания о любимом городе. Весь его облик иногда в такой примете.

Вот шоколадный домик моей гимназии на Театральной Площади. И зеленый простенький памятник Глинки. И греющиеся у костров длинные очереди студентов, готовых штурмовать трудную крепость Мариинского театра...

Это мой, интимный Петербург.

Но есть и другой — недостижимый, великолепный — и все-таки тоже мой. Он роднит меня с Пушкиным, Достоевским и другими большими петербуржцами.

Сознание, что фальконетовский, грозивший миру, Петр, несмотря на угрозы бедного Евгения, невозмутимо, неустрашимо несется вот с этой самой Сенатской Площади вдаль и ввысь одинаково в дни моего детства, когда Пушкин был еще учебником, как в дни, когда Пушкин не был еще учебником, а Достоевский бродил по Вознесенскому Проспекту и всем этим переулкам — **это сознание** делает меня участницей истории.

Двойственный образ Петербурга: Пушкинский Медный Всадник с Сенатской Площади и скромненький Глинка в позеленевшем сюртучке — с Театральной — в памяти навсегда!

Я могла бы говорить долго и с глубоким внутренним волнением о моем Петербурге, но прошлое его навеки — в ясном слове Пушкина, взволнованном Достоевского, гневном, но олимпийски приструненном Анненского, умном и изящном Белого и невыразимо влюбленном Блока.

*) Прочитано на вечере «Новоселья» 6 марта 1943 г.

А настоящее...

К горечи, зависти, обиде и стыду моему у меня еще меньше прав говорить об его **настоящем**. О Ленинграде — городе-герое, городе-мученике, городе-бойце пусть говорят его защитники: герои, мученики, бойцы.

А нам, родившимся на рубеже веков, выросшим на рубеже миров, **мирами и веками**, а не просто тысячамильными пространствами, отделенным от родины, нам в удел мало: воспоминания, догадки, мучительные попытки — вспомнить, забыть, понять, а то просто перестать думать.

Пусть же символом моего промежуточного существования будет то, о чем я расскажу:

О тире между Петербургом и Ленинградом.

Тире между городом памятником и городом героем.

На гранитном цоколе Медного Всадника высечено:

Петру Первому — Екатерина Вторая.

Нам говорили в гимназии, что посвящение это об'ясняли двояко: одни его считали признаком императрицной скромности — **ты, мол, первый, а я вторая**, а другие — напротив — нескромности: «Что это за знак равенства такой между живой царицей и Великим Петром?».

Кто из толкователей прав, неважно! Не все ли равно, какие мысли связывали живую императрицу с бронзовым на гранитном цоколе Петром? Но зато не все равно, что связывает бронзовый, гранитный, великолепный Петербург с голодным, обнищавшим, продрогшим, живой человеческой кровью истекающим **Ленинградом!**

Об этом тире между ними мой рассказ:

Была петербургская сентябрьская погода. Год 1924. Моросило с утра. Иногда дождь принимался лить потоками, ливнем, а то вдруг переставал и в воздухе носилась мельчайшая петербургская дождевая пыльца. Я была по каким то литературным делам на фабрике Севзапкино, помещавшейся в то

время в здании бывшего Аквариума на Каменноостровском Проспекте, переименованном в Проспект Красных Зорь.

Я вышла оттуда в довольно ранний послеполуденный час, в сопровождении Михаила Зощенко и Семена Тимошенко. Это был известный ленинградский конференсье, любимец артистического мира, прославивший свое малозвучное имя талантом непобедимого остряка (В те дни никто из нас, конечно, не знал и не предвидел, что славу нашего Сенечки Тимошенко, через неполных два десятилетия, затмит никому не известный тезка его и однофамилец).

С типичной для петербуржцев влюбленностью в проспекты родного города, мы решили, несмотря на погоду, пройти часть пути пешком. Неподалеку от моста, где мы начали неспеша прощаться с остальными спутниками, к нам неожиданно подошел милиционер и посоветовал торопиться домой. Он объяснил нам, что Нева угрожающе растет, что по ту сторону реки почти прекратилось уличное движение, что наводнение повидимому неизбежно.

Вода поднималась настолько стремительно, что уже через полчаса в какую бы мы улицу ни ткнулись, милиционеры слали нас назад. Город внезапно потемнел, притих, насторожился. Еще несколько минут — и ветер, без того неустанно крепчавший, стал неистовым. Он срывал листовое железо с крыш, обламывал желоба, дребезжал осколками стекол. И снова проливнем лил холодный, ужасающий дождь.

Зощенко жил на углу Мойки и Проспекта 25 Октября (Невского), я на Канале Грибоедова (Екатерининском), а Сенечка в какой то другой водной зоне. Когда мы, наконец, достигли Невского, совершенно внезапно спустился петербургский вечер, не серо-синий, воспетый поэтами, а мышинный, слепой, в отвратительных хлопьях мокрого тумана, заволакивающего весь мир навсегда. Но он продержался всего только несколько минут и уступил место тоже довольно жуткой, невылазно темной, мглистой ночи.

Вода уже размывала деревянные кубики торцов и они ша-

тались под ногами, ускользали, кренились, — крошечные плотки, на которых нам предстояло плыть Бог его знает в какую даль. Через несколько минут они поднялись над уровнем мостовой, их выбрасывало на тротуары и они громоздились на них горками, а то мчались, как безумные, в одиночку, несомые сумасшедшими потоками темной, неудержимой воды. Они пребольно били по ногам пешеходов. Движение становилось совершенно невыносимым. А пушка ухала все чаще.

В домах еще горели огни, но уличные фонари не зажигались.

Мы добрались до здания Городской Думы, карабкаясь по выступам фасадов, держась за карнизы нижних этажей. Мы уже были почти на ступенях Думы, когда во всем городе внезапно погасло электричество. Дальше идти было невозможно. Мы решили укрыться в этом общественном здании.

Едва очутившись в темноте неизвестного нам помещения, мы, да и все остальные пострадавшие, выбравшие это убежище, решили снять с себя лохмотья одежды и жалкие остатки обуви, которые мы складывали на радиаторы, ощупью, с трудом обнаруженные в каком то довольно неожиданном углу комнаты. Рассевшись на столах, стульях, а то просто на полу, дрожа от холода и усталости, мы завязали общий разговор. Один из тех русских разговоров, в котором даже кажется глухо-немые порываются принять деятельное участие.

И все время выл ветер, хлестал дождь, гремело железо, звенело стекло, а пушка мрачно отсчитывала футы под'ема воды. Но у случайных товарищей по несчастью была как будто одна забота: выяснить, перепрыгнули мы пушкинское наводнение, или нет?

— То было кажется 11 футов, а сегодня уже тринадцать раз стреляли, — сообщил хвастливый голос в темноте.

— Никогда правды не узнаем, — тихо и медленно, как обычно, отозвался Зоценко. — Повесят потом дощечку с отметинами, а мальчишки сопрут ее, дворник рассердится и

Н о в о с е л ь е

поднимет, чтобы не достали. Еще раз сопрут, он еще выше поднимет. (Так пишется «история», подумала я: выше поднимают, чтобы озорники не достали). — А Зощенко продолжал своим чарующим печальным голосом: — Свидетели смолчат, им даже лестно: чем выше, тем лучше. А потомкам зря страшно будет.

(Эта тихая шуточка легла в основу его рассказа «Наводнение»).

В темноте, из свидетельских были и небылиц, мы узнали, как по улицам близ реки и каналов, народ выплыл в шкафах, ушатах, на дверях, превращенных в плоты. Как из квартир нижних этажей волны выносили домашний скarb. Как в подвале какой то церкви кто то торопливо распивал вино: «Покуда его водой не разбавило»...

Кто то, выглянув в окно, обнаружил новое интересное явление: на совершенно белых лошадях, одетые в белые блузы и фуражки, с фонариками, прикрепленными к козырькам, спотыкаясь о груды торцов, по развороченным мостовым ехали милиционеры. Они отыскивали пострадавших, наводили порядок, бодрили город.

Все сразу радостно заговорили, что вот Петербург наш вовсе и не позабыт и зря мы обижались. Все у него нашлось: и белые лошади, и белые милиционеры, и фонарики и прочее. Но внезапно зажглось электричество и пришлось оголтело метаться, хватаясь за самые неподходящие предметы, чтобы прикрыть самые неподходящие для общественных мест части тела. Вдобавок пришлось еще виновато оправдываться перед чиновниками, оказавшимися тут как тут, и на чьих столах мы, оказывается, промочили какие то, чуть не государственные документы. (В скобках упомяну, что мне повезло: я хоть и провела на одном из столов несколько часов, но угодила на бювар с толщенной кипой промокательной бумаги).

В истории Петербурга-Ленинграда это всего только эпизод, но он приблизил меня к тому тире, о котором я хотела сказать.

На следующий день Ленинград узнал о размерах постигшего его бедствия. Склады муки, залитые водой, заставили его сидеть буквально без ломтика хлеба. Погибшая в наводнении бумага лишила его газет. Обитатели нижних этажей оказались на улице без крова. Никаких средств передвижения и в помине не было. Число человеческих жертв было велико. Но самое страшное: гибель школьников на Васильевском Острове. Ребятишек по выходе из школы буквально в одно мгновение настиг безумный вал, захлестнул и унес...

Голодный, измученный, разоренный Ленинград казался особенно величественным в то осеннее утро. Словно бедствие выявляло его духовную, неповторимую красоту. Словно все бронзовое и гранитное его великолепие становилось одухотворенными только в смертельной опасности, только под ударами, в беде. Так было в дни гражданской войны, так было в дни сентябрьского наводнения, **о котором тогда же решили, что оно явилось его революционным крещением. Ведь именно в том, 1924 году, Петербург умер, уступив место Ленинграду!**

Тысячи ленинградцев, на следующий день, таскали на своих спинах с вокзалов мешки муки и других подарков, которые посылала страна отставной столице. Тысячи делились друг с другом огарком свечи, промокшей коркой хлеба, одеялом. Тысячи чинили мостовые любимого города.

Они сносили лишения спокойно и еще успевали, в этой новой нелегкой жизни, восхищаться предательской красотой печально просиявшего неба и мерцающим неопишемым светом над жестокой рекой. И право, грусть опустошения странно подчеркивала бессмертную красоту города.

Бездушный Петербург, они говорили «бездушный» — эти подлинные россияне, не любившие и не понимавшие его души, бездушный город с мужественной сдержанностью, скромно и стойко пережил еще один удар.

Мы говорим «город», но перед нашим внутренним взором, особенно теперь, когда пишутся его лучшие страницы,

Н о в о с е л ь е

встают не улицы и строения, а **четыре миллиона живых людей!** Замерзающие, голодные, измученные бессонницей и непосильным бесменным трудом и лишениями, ежесекундно готовые умереть, ежесекундно умирающие, четыре миллиона людей прожили семнадцать месяцев в центре линии огня. Она проходила через их дома, через улицы и площади, охватила любимое особенное небо, проникла в школы с живыми детьми, в больницы, фабрики... Линии огня, боя! **Понимаем мы значение этих двух слов?** Поле битвы было в Ленинграде, он был полем битвы, он был ее целью. Стратегической мишенью врага, духовной целью защитников. И они отстояли его! Грудью! Этот город, возникший по капризу единичной воли, все переживший, приобрел бессмертие упрямой железной волей четырех миллионов живых людей.

Если б можно было повернуть историю вспять, на одной из петербургских площадей, следовало бы воздвигнуть памятник:

Ленинграду тире Петербург.

О величии великого надо говорить просто, но ведь к величию нашей родины **нам** добавить больше нечего: у письменных столов не придумаешь слов проще и страшнее тех, которые сказала ленинградская поэтесса Маргарита Алигер:

Мы вырвались из этой длинной тьмы,
Прошли через заслоны огневые,
Ты говорила: «Каменные мы»,
Нет, мы сильнее камня, мы — живые!

СОФИЯ ПРЕГЕЛЬ

ПИКОВАЯ ДАМА

Ах, не злая тоска ли сердечко укусит,
Будет выть, и стонать, и скрипеть без конца:
В эту темную ночь отравилась Маруся,
Умерла, умерла, не дождавшись венца.

Там шарманка поет на щербатой панели,
Там прохожий из пыльного мрака возник,
Николаевской, пышной, тяжелой шинели
На морозе бобровый блестит воротник.

За любовь погибаю, что может быть проще,
Умираю, зеленым огнем сожжена...
На пустом перекрестке фонарные мощи,
На глухом перекрестке гудит тишина.

Ветер мартовский мчится и злобно ревнует,
Разбивает за глыбами глыбу, звеня,
А на площади Всадник во тьму ледяную
Небывалым галопом пускает коня.

И кончается где-то ночная пирушка,
Поднимается белый, назойливый пар,
Из калитки выходят подвыпивший Пушкин
И румяный повеса, Каверин гусар.

В эту ночь роковую убиты три карты,
Три мечты безвозвратно уходят во мрак,
Крепче пунша, сердитая ласковость марта
За небритые щеки хватает гуляк.

Н о в о с е л ь е

Плачет Лиза у Зимней Канавки и мнится —
Нету скорби ее и сильней, и больней.
Петербургская полночь, как черная птица,
Осторожно и четко кружится над ней.

И седой полумесяц, наивно-печальный,
Успокоить любовников хочет вотще.
Там склоняется в будке унылый квартальный,
Там мелькает прохожий в придворном плаще.

Тень графини и Герман, в ночи бледнолицый,
На зеркальном окне неживого дворца,
Ветер мартовский бьет и, пугая, боится,
На туманном рассвете страшится конца.

До могилы дойдешь ты стезей роковою,
Ты, вкусившая первой отрады едва...
Ветер ладожский спорит с широкой Невой,
И в объятьях смертельных пылает Нева.

СОФИЯ ПРЕГЕЛЬ

ЗА ПЕНИНГРАД

Все застыло во тьме оголтелой,
Все снаряды, сердца и штыки --
Только злобой пружинилось тело,
Только ненависть была в виски:

Винтовка-подруга,
Холодный приклад,
По снежному лугу
Ни шагу назад.
Винтовка-подруга,
Мы в стужу и град,
Мы в дымную вьюгу
Спасем Ленинград.

Как настойчивый ветер сердито
На заре фонарями гудит,
На панели ребенок убитый
Кулачек прижимает к груди,

И платок на спине не завязан,
Видно мама в сугроб прилегла,
На щеке застывают алмазы,
А глаза голубее стекла.

Длинные ночи,
Выстрелов вой,
В чуйке рабочий,
Друг-часовой,
В зимние ночи

Н о в о с е л ь е

Ни шагу назад,
В чуйке рабочий,
Спасешь Ленинград.

Эти жесткие пальцы усердно
Серый ковшик носили с водой,
Свет лежит на сестре милосердной,
На ее одежонке худой.

Сердце немеет,
В сердце ножи,
Красноармеец
Мертвый лежит.
Мертвый, в канаве,
Выстрелам рад,
Слышит он, к славе
Идет Ленинград.

Вольный ветер вздувает каналы,
На Неве под мостами кипит,
Если б злоба врага доканала,
Был бы каждый трикратно убит.

Мокрая глина,
Солнца лоскут,
Здесь белофинны
Век не пройдут.
Блеск виноватый,
Месяца лед,
Немец проклятый
Здесь не пройдет.

Засияют проспекты лучисто,
Шпиль высокий над башнями сам
Про победы веселых танкистов
Запоем золотым небесам:

С т и х и

Как воевали
В бурю и град,
Как на вокзале
Рвался снаряд,
Как приказали:
Ни шагу назад,
Как умирали
За Ленинград.

БОРИС РОМАНОВ

НА МАСЛЕННОЙ В ПЕТЕРБУРГЕ

Печатаемые отрывки взяты из подготовляющейся книги театральных воспоминаний балетмейстера Мариинского Театра Бориса Романова.

Петербургцы должны помнить двойные спектакли на масленной неделе в Мариинском Театре. По утрам всегда давались балеты и множество нарядной петербургской детворы стекалось на эти представления. Бывали и особые «утренники» для учащейся молодежи. Тогда дирекцией бесплатно рассылались билеты во все военные корпуса, институты, гимназии и реальные училища.

Голубой зал Мариинского Театра в такие дни представлял из себя необычайное зрелище — он как бы озарялся светом юной красоты и непосредственного восторга.

Представит ли кто себе Мариинский Театр, и вспомнит-ли его бархатные ложи, в которых молодежь, будто гирлянды живых цветов, опоясывала ярусы доверху?

В этот день балетный завсегдатый, «балетоман», подагричный, расслабленный, как римский патриций, отягощенный пирами, уступал место здоровью и силе. Около трех тысяч учащейся молодежи, разряженной в свои парадные формы и опекаемой заботами таких же нарядных и немного надменных, а порой и величественных классных дам и воспитателей, с трепетным напряжением ждали первых звуков оркестра.

Места в театре среди учебных заведений распределялись не просто — все строго регламентировалось, в зависимости от значения институтов.

Бенуар обычно занимали «смолянки», белизной и тугим

крахмалом своих платьев они напоминали порселены. Прямые как тростинки, со сложенными на коленях руками, в белых лайковых перчатках до локтей и обнаженными плечами в стиле «бидермайер», — эти «благородные» девицы возбуждали зависть привилегированностью своего происхождения.

Рядом со смолянками логи занимал Еленинский Институт, шеголяя лазурью своих одежд. Затем сидели воспитанницы института Имени Императрицы Марии — всех институтов и не перечесать...

Бель-этаж украшали пажы, с воротниками, красными как кровь; дальше — воспитанники Императорского Лицея с «николаевскими» треуголками подмышкой, правоведы в зеленых мундирах с бирюзовым галуном. А уже выше, к потолку — «классики», как их называли, гимназисты всех двенадцати классических гимназий Петербурга.

Не забыты были и питомцы городских школ, но они, как бедные родственники, набивали галерку, и являли зрелище разношерстных одежд.

По традиции, на такие спектакли приезжал император с семьей. При его входе в ложу весь зал поднимался со своих мест и стоял, вытянувшись по военному. Оркестр троекратно исполнял Российский Гимн. Царствующая семья занимала свою ложу в бенуаре, с правой стороны от сцены, из которой, кстати, отвратительно было видно, особенно балет. Ложа была самая крайняя от сцены.

После гимна, когда царская семья опускалась в кресла, садились и все остальные. Представление тотчас же начиналось.

В таких спектаклях обычно давали «Спящую Красавицу» или «Щелкунчика», реже другие балеты.

Когда я был еще ребенком, на этих спектаклях блистали «мэтры»: семья Кшесинских (отец, сын и дочь), Преображенская, Трефилова, Егорова, Мария Петипа и другие прекрасные балерины. Из мужчин озаряли сцену блеском своего таланта братья Легат, необыкновенный Павел Андреевич Герд;

Новоселье

будущий реформатор балета Фокин, Михаил Обухов, Бекефи, Ширяев, Чекетти, Стуколкин, Кякшт.

Позднее на смену им явилась молодежь, испившая одной с ними воды из животворящего источника искусства. Это были уже мои друзья и коллеги (года наши были не слишком различны) — Карсавина, Лидия Кякшт, Смирнова, Вера Фокина, Шолар, Лидия Лопухова, Люком, Ольга Спесивцева, Бронислава Нижинская, замечательный Владимир, Анатолий Обухов, Вильдзак, Розай и сам легендарный Вацлав Нижинский.

Какой неподдельный энтузиазм вызывали эти артисты, проникавшие прямо к юным сердцам. Аплодисменты не умолкали. Антракты затягивались: всех выдворяли из лож в фойе, к сервированным столам, перегруженным оршадами, лимонадами и сладостями. Кроме того, каждому учащемуся давали коробку конфет с изображением царя, царицы или наследника.

В бытность мою учеником Театрального училища, участвовавшие в таких спектаклях воспитанники приглашались в антрактах в царскую ложу, и конфеты эти они получали непосредственно из рук государя или государыни. При этой церемонии постоянно происходили всякие шероховатости — малыши невпопад давали ответы на вопросы государя, целовали руку великого князя вместо руки императрицы; десятки оплошностей можно было насчитать, и о них потом долго вспоминали за кулисами.

На такой масленичный утренний спектакль мой отец, состоявший на службе Дирекции Императорских Театров в качестве хранителя оперного и балетного гардероба, и решил меня взять. Не в публику, конечно, этого делать было нельзя, я не состоял еще учеником ни в одном из учебных заведений, а за кулисы, в осветительную будку, что внизу, у самой рампы.

Мне повезло — знакомый главный машинист и осветитель Марининского Театра, инженер Бекетов, будучи у нас в гостях, проговорился — сказал при мне отцу: возьми, мол,

сына в театр на «Щелкунчика», и посади в осветительную будку.

— Ну, вот, мышей увидишь, обратился он ко мне.

«Мышей? — подумал я. — Раз будут мыши, случай упустить нельзя».

Бекетов рассказал подробности. «Король мышей» со свитой будет драться с армией пряничных солдат, а потом придет «Щелкунчик» и победит мышей.

Воображение мое воспламенилось, и отец должно быть понял, что после неосторожных слов Бекетова ему не отвертеться. На случай я «заготовил» даже слезы, чтобы усилить впечатление, и только ждал ответа.

Решили на спектакль меня взять.

С отцом мы в театр вышли рано. Он обыкновенно уже за час до начала спектакля бывал в гардеробе: мало ли что могло случиться.

Мне осталось прождать еще с добрый час, пока осветительная будка Бекетова не представит моим глазам неведомый мир, красоту которого могла рисовать только фантазия.

И вот в последние пятнадцать минут неожиданно произошел казус, перевернувший все кувырком и лишивший меня счастья увидеть долгожданного «Щелкунчика».

Я так и не получил «боевого крещения» от образцовой продукции Мариинского балета. Первым, увиденным мной в жизни театральным представлением оказался спектакль в дощатом бараке братьев Лейферт, на балаганах, что устраивались попеременно на разных площадях Петербурга.

То ли желая меня развлечь, заметив мою нервную ожидательную усталость, то ли просто для шутки, отец вышел на лестницу, где этажом выше помещалась огромная уборная воспитанников Театрального училища, и позвал оттуда в гардероб подростков, уже в костюмах мышей. Присоединился к ним и сам «мышинный король», старший воспитанник Адольф Больм, особенно друживший с отцом.

Как только вся эта компания с огромными острыми голо-

вами вошла в гардероб, и я увидел их ужасающие длинные хвосты, да еще закрученные, шика ради, на руках с когтями, я обомлел от страха. Мой испуг, должно быть, поддал мальчуганам жару. Они, учтя эффект, произведенный на меня маскарадом, удвоили усердие. Больм, например, прямо вошел в роль «мышинного короля», приподнимался передо мной на полупальцах, вздымая над моей головой скрюченные руки с когтями и выразительно приказывая прыгающим «подданным» схватить меня.

Большого страха я не испытывал в жизни. Я буквально визжал от испуга. Нервный шок был настолько силен, что я не мог плакать — слезы застывали в глазах. Я орал, хватался за все столы, шкафы, скамейки, чтобы спастись.

При таком обороте шуток, должно быть, мало удачной, ничего другого не оставалось, как отослать меня домой, и я, таким образом, вместо балета попал в постель. Казалось-бы, столь серьезная неудача от мышинного маскарада могла отбить всякую охоту к театральным представлениям, — а вышло наоборот. Я требовал компенсации, и на семейном совете порешили показать мне «балаган».

О русском балаганном «действе» написано много в разных изданиях, выбито не мало эстампов, и остается только указать на тот интересный факт, что балаган не прошел мимо внимания деятелей балетного театра. Уж слишком много динамики и народного красочного быта заключал в себе балаган, чтобы остаться в стороне от взоров именно хореографически мыслящих художников сцены.

Достаточно вспомнить Ал. Бенуа, Фокина и Стравинского, которыми нам оставлен, как зеркальный осколок, балет «Петрушка».

В нем мы можем разглядеть, на фоне балаганного действия, разгульное страдание русской души минувшей эпохи.

Сколько бы раз мне ни случалось смотреть этот балет в театрах, наполненных иностранцами, я замечал, что может

быть по разному мы воспринимаем его сущность, но наслаждаемся его бунтарским российским ритмом все же вместе.

Оказалось, однако, не одних только русских художников и артистов балаган привлекал.

Датский балетмейстер Август Бурновиль, совершивший путешествие из Копенгагена в Санкт Петербург в 1874 году, достаточно уделяет внимания этому своеобразному масленичному народному гулянию в своей книге «Моя театральная жизнь». Вот как описывает он свое посещение этого русского карнавала:

— «На огромной площади, на Марсовом Поле у Летнего Сада, установлено множество ларьков и палаток; и на площади, и в Саду грязь была неопишная, но для удобства гуляющей публики настланы были вдоль и поперек деревянные мостки и рогожи, и в то время как в Саду вас окружает блестящее общество, на площади кишит пестрая смесь солдат, матросов и простонародья обоего пола. Спиртные напитки не продавались, но самовары работали во всю, и разносчики с большими стеклянными кувшинами усиленно предлагали русский напиток «квас» — буроватую жидкость, пенистую как пиво, но едва ли полезную для датских желудков.

Веселые крики с мелькавших качелей, оглушительная музыка разнообразных мелодий и инструментов, и топот подбитых железом каблучков выражали праздничное настроение. Но кульминационных пунктов оно достигало в двух местах — у театра Берга и у подмостков комиков — зазывал перед каруселями и танцевальными павильонами.

Среди этих зазывал особенно выделялся старичина в жутко изодранном кафтане, в парике и с бородой из старых расчесанных веревок; он с утра до позднего вечера орал свои остроты и каламбуры, вызывая у многочисленной аудитории непрерывный смех. Я невольно заразился веселостью этого человека, а он, убежденный, что я его понимаю, торжествуя подскочил ко мне за получением соответствующей мзды.

Театр Берга, — огромный деревянный сарай с наружными

лестницами и с висящими переходами на галерею и более удобным входом в партер. Большая толпа дожидалась начала следующего представления. Шло седьмое из двенадцати, составлявших дневной репертуар. Весь спектакль длится немного более получаса, и постановка вполне приличная; Арлекин и Коломбина танцевали положительно недурно. Я покинул балаганы, унося очень приятное впечатление».

Я лично испытываю большое удовольствие от того, что балетмейстер Бурнонвиль «унес очень приятное впечатление» от балаганов на Марсовом Поле. Такое же, и может быть еще более сильное впечатление у меня осталось на всю жизнь.

К сожалению, в последние годы прошлого столетия гулянья эти были уничтожены, и балаган заменен «вербой» на Конногвардейском бульваре. Это было уже нечто совсем другое. Длинный, узкий бульвар, засаженный деревьями, между которыми раскинулись дощатые ларьки, радикальным образом изменил общий колорит гулянья. И если к этому еще добавить, что исчез милый русскому сердцу Петрушка, исчез «балаганный дед» со своими не всегда пристойными прибаутками, которого Бурнонвиль называл «старичиной с бородой из старых расчесанных веревок», а также уничтожены были театральные бараки Малафеева и братьев Лейферт с их лубочными феериями (театр Берга, о котором вспоминает Бурнонвиль, при мне уже не существовал) — Конногвардейская «верба» казалась пресной, скучной и не могла возбуждать интереса.

То ли дело балаган! Так вот, укутанного в разные фуфайки, башлыки, кашне, галоши — тетка повезла меня туда, где устраивались эти гулянья. Балаганы меняли свое местонахождение, иногда сооружались далеко — на Песках, иногда на Марсовом Поле или на Адмиралтейской площади. Вспоминаю — щекотал мороз. Яркое солнце, крепкий, скрипучий снег под ногами, санки, коньки, мальчишки, ледяные горы, карусель, качели, гам голосов, теснота, почти давка, свистульки, трещотки, шарманки, рычание труб военных оркестров,

крики продавцов сбитня, блинов, мятных пряников — никогда не забыть их сладкого вкуса! — все смешивалось в один общий, удалой, разгульный российский хаос.

Мы с теткой очутились перед огромным дошатым баракком, над входом в который красными буквами было начертано название феерии — «Пропавшая грамота». Увы, в те годы я еще не успел познать поэтической мудрости гоголевских «Вечеров на хуторе близ Диканьки, и поэтому название мне ничего не говорило. Зато размалеванный плакат на стене театра указывал, что зря я не потеряю времени.

В полутемном бараке с едва мерцающими огнями керосиновых ламп, набитом человеческими телами в сырых одеждах, от которых несло запахом талого снега, мы с трудом пробились к своим местам.

Бег времени, к сожалению, стер воспоминания, мало оставив в памяти впечатлений от этого представления. Единственным, но совсем не бедным воспоминанием является запорожский казак, пролетающий на коне по воздуху. Помню, как густые облака из тюля опускались по первому плану сцены и на толстенных проволоках, которых по замыслу режиссера мы не должны были видеть, летела белая лошадь со всадником, лихо заломившим набекрень казацкую шапку. Должно быть, в ней и хранилась «пропавшая грамота».

Признаюсь, сильно понравился мне казак. И на другой год, когда я шел на вступительный экзамен в Театральное училище, казак не покидал моего воображения. С этого все и началось в моей театральной жизни.

М. К. ЖЕЛЕЗНОВ

ПЕТРОПОЛЬ

Окно, окно... На целый Мир, в Европу ли...
Бушует ветер, финский, ледяной
Над темною громадою Петрополя,
Над Всадником с простертою рукой.

В окно, в окно глаза глядели всякие
На снег, на мост Елагин, на мятель,
На мощные колонны Исаакя,
На бедного чиновника Акакия
Почти что легендарную шинель,

На западных дворцов великолепии,
На благолепье византийский риз
И на судьбу трагически - нелепую
Отверженных, столичных, бедных Лиз,

Орлов надменных, вскормленных победами,
На славу прошлых и грядущих лет,
На серый домик, где сгорал неведомый
И до сих пор не понятый поэт,

На мятежи, парады горделивые,
Широких улиц царственный гранит,
На небеса над Невской Перспективою,
Куда не проникает «Мессершмитт».

КИРА СЛАВИНА

ИЗ ГОДА В ГОД

Не исполняются желанья,
Но, все-же, в будущем году
Я с Новым Годом на свиданье
В полночный час опять приду.

Опять запенятся бокалы
И смех задорный зазвенит,
А Старый Год, мой друг усталый,
Еще в дверях повременит.

Изменит Новый, как другие,
И мне, и всем, кто счастья ждет.
Погибнут сердцу дорогие
И превратятся слезы в лед.

Не исполняются желанья,
Я знаю горе и беду,
Но с Новым Годом на свиданье
Приду и в будущем году.

ПОТОМ

Нет, не теперь... Когда нибудь потом —
Сады, поля, леса, озера, горы,
Все то, что прежде радовало взоры,
Воскреснет вновь в величии своем.

Н о в о с е л ь е

Когда совсем забудем мы о том,
Что кровь траву и землю запятнала,
Что при подаче страшного сигнала
В тумане потонули мы густом.

Теперь же, в мире диком и пустом,
Где — мученики, звери и уроды,
Мы далеки от красоты природы.
Когда нибуть, когда нибуть потом...

М. ДОБУЖИНСКИЙ

ОБЛИК ПЕТЕРБУРГА

Петербург был создан волей одного человека (беспримерный случай в истории), и возникал не стихийно, как большинство русских и европейских городов, а по определенному плану.

Петровский план был сделан французом Леблоном: в нем была великолепно использована природа местности — обилие воды и плоская равнина, и в дальнейшем строительстве план этот лишь совершенствовался.

Петровское строительство имело целью и архитектурное единство, и все дома частных лиц строились лишь по определенному типу — особому для «знатных персон», купечества и мещанства. Таким образом с самого начала Петербург создавался, как цельное художественное произведение. Дух единства стал его традицией, и он мог сделаться по своей гармоничности единственным в мире городом. Нева с ее островами, далекие перспективы, ровные пространства — все предопределяло грандиозные черты Петербурга и рождало идею больших архитектурных ансамблей и панорам.

Петербургу — 240 лет, и каждая эпоха вносила в его историю свои черты, свой стиль и вкус. При смене их и при расширявшемся строительстве приносились в жертву многие здания, на их месте вырастали новые, но, несмотря на это, облик Петербурга в своем целом сохранял всегда свою строгость, стройность и необыкновенную значительность.

Наибольшего величия и гармонии облик Петербурга достиг в первой четверти прошлого столетия. Этот расцвет Петербургской красоты совпал с веком Пушкина, который запечатлел ее в «Медном Всаднике» и в «Евгении Онегине». Запечатлели ее и многочисленные скромные художники того времени — Алексеев, Воробьев, Галактионов и другие, которые с мельчайшими подробностями любовно зарисовывали виды города и жизнь его улиц.

В то время Петербург уже давно потерял первоначальный Петровский вид голландского города «Санкт Питербург»

ха» с черепичными крышами, регулярными стриженными садами, низенькими барочными домами, подъемными мостами на каналах и многочисленными золотыми шпилями церквей. Но многие Петровские постройки сохранялись и придавали особое своеобразие Петербургу — Петропавловская крепость с ее золотой иглой, 12 коллегий (где при Александре Первом поместился университет), Меншиковский дворец и другие, которые красуются и поныне. Так же и то, что создано было после Петра, при Елизавете и Екатерине, вливалось в общую тогдашнюю картину Петербурга — гранитные набережные Невы, чудесные решетки Летнего Сада и каналов, грандиозный Зимний Дворец, Смольный монастырь, великолепное здание Академии Художеств и — настоящее сокровище искусства — памятник Петра работы Фальконета.

Все это строительство 18 века необыкновенно слилось с вновь возникшим, иным по духу, суровым, классическим стилем. Оно слилось потому, что даже хрупкое и нарядное «рококо» приобретало на берегах Невы особую монументальность и серьезность.

Поворот от барочных форм в архитектуре в сторону классицизма начался еще при Екатерине, и стиль этот, в форме так называемого Ампира, с необыкновенным блеском выразился в строительстве времени Александра Первого. Этот величественный стиль, созданный французской революцией, был адоптирован Наполеоном, и волна его пронеслась по всей Европе. Ампир нигде так не расцвел и не привился, как в России, приняв своеобразные русские формы и, порой, как в помещичьих и провинциальных домах, приобретая и чрезвычайно уютный характер. Он необыкновенно подошел к Петербургу — именно он придал в то время столь грандиозный облик «парадной» стороне столицы.

Период этот отличался обилием талантливых и даже гениальных архитекторов, русских и иностранцев, которые создали настоящие шедевры. Перечислю лишь самое замечательное: Биржу с ее ростральными колоннами постройки Тома де Томона, его же Большой театр (сломанный при Александре Третьем); Адмиралтейство Захарова, воздвигнутое на место Петровского Адмиралтейства Коробова, — одно из самых грандиозных зданий в мире; Казанский Собор Воронихина и ряд зданий и ансамблей гениального Росси: Се-

нат, Арку Главного Штаба, Александринский Театр с Театральной улицей, Михайловский Дворец с его площадью.

К этому времени относится и Александровская Колонна на площади Зимнего Дворца, произведение Монферрана, и, начатый им в 1817 г. и оконченный через 41 год, Исаакиевский Собор.

Можно ясно представить себе тихие окраины Петербурга того времени — Линии Васильевского Острова, Петербургскую Сторону, Коломну с «Козьим Болотом», Пески, — эти места должны были напоминать тогдашний провинциальный город — с садами, длинными заборами, полосатыми будками будочников, пожарными каланчами и домиками, уютными, как Пушкинский «Домик в Коломне».

С середины 19 века очень многое меняется в Петербургском облике. Продолжается по прежнему усиленное строительство, но классический стиль уже теряет недавнюю силу и суровость, делается «нарядным» и дробным. К 60-ым годам чувство стиля вообще начинает утрачиваться (как и всюду в Европе), и наступает период эклектизма, смешения всех стилей.

К классической архитектуре Петербурга отношение постепенно меняется, ее презрительно называют «казенной», «казарменной», «аракчеевской», наступает как бы слепота в отношении дивных петербургских ансамблей, их перестают ценить и беречь, видя в них лишь монотонность и скуку. Настает долгий период равнодушия к петербургской старине, и погибают и искажаются перестройкой многие здания. В то же время возникает новый поверхностный вкус — к «истинно русскому». Ампи́р начинает трактоваться, как нечто иностранное, не национальное, строятся многочисленные церкви компилятивной квази-византийской архитектуры, подделки под московский церковный стиль с «луковицами», — стиль совершенно чуждый всему облику Петербурга, нарушающий строгие его линии и ансамбли. Такова Благовещенская Церковь у Николаевского моста, Вознесенский Собор близ Царскосельского вокзала, множество церквей и часовен на окраинах (постройки, главным образом, архитектора Тона), и впоследствии построенный храм Воскресения на месте убийства Александра Второго.

Город в своем росте естественно теряет и прежний уют, и налаженность регулярной жизни. Предместья расширяются,

появляется фабричный рабочий класс, меняется и быт улицы. Возникает рядом с «парадным», «барским» Петербургом (все еще не теряющим своей элегантности), другое лицо города, не менее значительное, — его «недра» с мрачными кварталами, с беднотой, ютящейся в страшных домах с темными дворами, «петербургских трущобах». Петербург Достоевского, «Питер», — опять новый облик города.

Город непрерывно растет. Появляются новые «доходные дома», или с отголосками прошлой архитектуры, или с всяким смешением стилей, или же вовсе без всякой архитектуры. Лишь одно время строительство регулируется: закон запрещает строить дома выше Зимнего Дворца (не допускает престиж!). Но несмотря на разностилье вырабатывается как бы сам собой некий общий характер, если не стиль, суровых и замкнутых петербургских домов — с плоским фасадом, с широко расставленными большими окнами в глубоких амбразурах, с железными навесами под'ездов и неизбежными «брандмауерами», — глухими кирпичными стенами в белых полосах дымоходов.

Тесные ряды этих высоких домов с их ровной линией карнизов и красных железных крыш с бесконечными трубами, заборы, столь типичные для петербургской улицы — не временные загородки, а солидные, прочные стены, — и сама раскраска домов: темнокрасная, белая, желтая, даже черная, — все это представляло необыкновенно оригинальные и острые черты Петербурга, так отличавшие его от любого другого города на свете.

Мое поколение застало расцвет пренебрежения к петербургской старине, что выразилось не только в сносе и модернизации многих старинных зданий, но и в новом строительстве, оскорбляющем строгий стиль Петербурга. Уже давно были застроены верфи Адмиралтейства целым блоком огромных бесстильных домов с чудовищным Панаевским Театром, был сломан Большой Театр Томона, видевший начало нашей оперы и балета, на месте которого выросло безвкуснейшее здание Консерватории. С появлением нового претенциозного стиля «модерн» многими частными домами обезображен был Невский проспект. В том же стиле построен был новый Царскосельский вокзал, разукрашен Троицкий мост и т. д.

Вся эта порча Петербурга давно возмущала ценителей Петербургской старины, которые долгое время были беспо-

мощны что либо сделать в ее защиту. Лишь постепенно, с начала 1900 годов, благодаря пропаганде «Мира Искусства», стал созреть настоящий культ старого Петербурга. Этому немало помогли выставки старинных гравюр и рисунков, специально посвященные истории города, и деятельность общества Архитекторов-Художников, которое учредило в 1908 г. Музей Старого Петербурга и вело неустанную кампанию против вандализма.

Те же цели преследовало и вскоре возникшее, уже во все-российском масштабе, 'Общество Охраны Памятников Старины. Хотя многое было уже уничтожено и безнадежно испорчено, общими усилиями была достигнута возможность контроля нового строительства, реставрации имеющих историческое и художественное значение зданий и проведена в жизнь перекраска их в первоначальный цвет. Мера эта очень украсила и обновила Петербург в последние годы перед революцией.

В то же время Петербург стал украшаться и новыми, наконец достойными и гармонирующими с характером Петербурга зданиями, — постройками молодых архитекторов Фомина, Шуко, Таманова и др. Особенно замечателен был новый квартал в Галерной гавани с грандиозными пропорциями домов чистого классического стиля — постройка Фомина. Другие же архитекторы вносили и иные черты в облик города. Красивые новые здания, особенно на Каменноостровском Проспекте, с балконами и с газонами, хотя и не были в духе настоящего Петербургского стиля, имели «столичный» вид и придавали европейский характер улице.

В облике Петербурга, ставшего во время войны «Петроградом», опять многое менялось. Город был переполнен беженцами, значительно демократизировался, и чувствовались трещины во всем укладе тогдашней нервной, тревожной и все же интенсивной жизни.

Первые годы после революции Петербург был в полном запущении и умирал. На безлюдных улицах росла трава, точно после урагана покосились все уличные фонари, дома зияли пустыми окнами. Зимой, в снежные вьюги, Петербург был настоящий «город Блока» и его «Двенадцати». А в белые ночи, тогда небывалой, недвижной стеклянности, мертвый город казался совершенно призрачным. Несмотря на раны и нищету, Петербург в своем трагическом виде оставался попреж-

нему величавым и даже был по новому прекрасен. Возник новый и необычайный его облик.

Стихийная опасность разрушений, отличавшая разгар революции, уже тогда миновала, но нужно считать чудом, что сохранился Зимний Дворец, хотя он и мог быть сожжен, подобно Тюильри при Коммуне. Ведь был же сожжен Окружной Суд, Литовский Замок и разные другие здания Петербурга. Не удивительно, что были тогда уничтожены символы прежнего режима — старинные орлы, украшавшие фронтоны, и прочие царские эмблемы.

В самом начале февральской революции все исторические здания и памятники сразу же были объявлены собственностью народа и самому народу поручалась охрана его имущества. Но подобная «охрана» во время октябрьского переворота, конечно, была уже недостаточной и не гарантировала от эксцессов, и надо было нам, людям искусства, которые оставались в те годы на месте, сделать много усилий (тут особенно почтенна была роль М. Горького), чтобы убедить в самое острое время местные власти отнестись с уважением к старине, хотя она и была «наследьем старого режима» и сбересть ее, как большую художественную и историческую ценность. Приходилось отстаивать самые азбучные истины.

Многое сохранилось в те годы, как бы по инерции и, как парадокс, стояли нетронутыми почти все царские памятники. Многие старинные здания обеспечены были уже тем, что были приспособлены для новых учреждений, которые для своих нужд их отапливали и ремонтировали, но иные сами собой начинали разрушаться, требовали поддержки и охраны, пока не наладилось «коммунальное хозяйство» города. Сам рациональный план Петербурга не давал повода к тем разрушениям, которые были произведены в Москве во имя расширения городских артерий (снос Красных Ворот, Сухаревой Башни и многочисленных церквей).

В те годы добиться хотя бы простой полицейской охраны памятников было очень трудно. Долгое время они оставлены были на произвол судьбы, и тут приходилось вначале прибегать к самым примитивным приемам.

Приведу один пример: у Фальконетовского памятника Петра долго не было сторожа и «добровольцам» (как неоднократно и мне), приходилось удерживать бездельников, и даже читать им тут же «лекцию». Мальчишки качались на

поднятых ногах Петровского коня, выцарапывали «заборные» надписи на его чреве и шлифовали салазками скалу. И все-таки, хотя это было кошунство, в картине Гиганта, облепленного черными фигурами человечков, было что то неожиданно патриархальное и народное.

Кульτ Старого Петербурга, который создан был поколением «Мира Искусства», в настоящее время повидимому не замер. У нас он имел, кроме исторической, чисто эстетическую и даже романтическую основу, но весьма сомнительно, что в современной психологии есть место нашему эстетизму и романтике. Впрочем, в советском журнале «Искусство» за 1938 год пришлось прочесть: «Мы любим Петербургскую старину, красоту Петербурга и его ансамбли не меньше, чем «мирискусстники», но только любовь наша иная». Эти слова говорят о некоем психологическом сдвиге по сравнению с теми примитивными настроениями, которые царили впервые революционные годы, когда не видно было мостов к прошлому и во всяком случае доказывают, что то, что было сделано нами в давно прошедшие годы не пропало даром.

Каков облик нынешнего Петербурга-Ленинграда можно судить лишь по отрывочным снимкам кинематографа и случайным журнальным фотографиям. В страшные дни осады он был вовсе не тем, каким мы знали его в годину его трагического опустошения, когда Петербург был оставлен на волю стихий. Тут, наоборот, его берегли и иным, конечно, должен был быть дух жителей, терпевших лишения и ужасы, так как жертвы приносились теперь во имя определенных целей, всем одинаково понятных и близких.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ СИЛУЭТЫ

Первое десятилетие нынешнего века принято считать русским ренессансом. Сдвинулась с мертвой точки политическая жизнь России. Война с Японией пробудила жажду к политическому освобождению. 1906 год был еще годом надежд, но разочарование наступило скоро.

Правительство «по-складам» изучало проблему народо-правства, напуганное недавним восстанием, но было слепо в отношении даже ближайшего будущего.

Спрос на литературу, в особенности на беллетристику, повысился.

Еще продолжал жить в провинции старый подписчик «Русских Ведомостей» или «Луча». Газета для него была святыней, и он собирал ее из года в год, сохраняя каждый номер с благоговейным трепетом.

Но появился читатель новый, циничный и легкомысленный, относившийся к литературе, как к забаве, как к одной из форм светского развлечения. К его услугам явилось огромное количество новых журналов, газет, пустых, но занимательных, иллюстрированных пустоцветов и детективной макулатуры.

Горький из своего прекрасного далека редактировал сборники «Знание», в которых объединилась группа писателей радикального направления.

Читателю, не интересовавшемуся политикой, склонному к модному тогда анархо-индивидуализму, оказался по душе «Шиповник», издававшийся маленьким, уродливым как Квазимодо, но способным и ловким Гржебиным. В «Шиповнике» первую скрипку играл Леонид Андреев, и наиболее значительные его произведения появились впервые в этих белых, плотных томиках, имевших огромное распространение в провинции.

«Журнал для всех» разносил по миру новые произведения Арцыбашева, Куприна, Муйжеля, стихи Виктора Гофмана, рассказы Бориса Лазаревского, Анатолия Каменского,

Федора Сологуба, Алексея Толстого, Крандиевской и многих других.

Модернисты тогда еще именовались декадентами и группировались в журнале «Бесы», «Золотое Руно» и в отдельных сборниках.

Надо признать, что в писательской среде далеко не было единодушия. Возле каждого большого писателя, как вокруг большой планеты, группировались малые созвездия. Так Куприн имел свое окружение из мелких писателей вроде Каменского, Лазаревского, Маныча и незаметных репортеров и журналистов. Была своя свита и у Арцыбашева, вечно ему сопутствовавшая.

Некоторые из пишущей братии ездили часто в Финляндию на поклонение Леониду Андрееву. Большая и солидная группа ютилась под крылом Горького. Но эти кружки жили изолированно и даже враждовали между собой.

Настоящего общения между писателями не было. Встречи происходили большею частью в ресторанах. Из них два, «Вена» Ивана Сергеевича Соколова и «Малый Ярославец» приобрели почти историческое имя.

В «Вене», излюбленном месте писательских встреч, и состоялось мое первое знакомство с писателем, которого я, задолго до этого, живя в провинции, знал по его рассказам. Я говорю о Михаиле Петровиче Арцыбашеве.

В то время Арцыбашев только что закончил своего «Санина». Признаюсь откровенно, что несмотря на неоднократные попытки одолеть эту большую повесть Арцыбашева, я так в этом и не успел. Мне показались скучными похождения героя, популярность которого находится в полном противоречии с литературным качеством повести.

Но рассказы Арцыбашева, в особенности первые, которые печатались в толстых журналах, а также в «Журнале для всех», мне нравились. Немного, правда, отталкивала натуралистическая старательность, с которой автор описывал далеко не эстетические подробности из жизни своих героев. Наряду с этим в творчестве Арцыбашева была близость к массам, искренняя простота и черноземность, приближавшая его к народничеству.

Этому впечатлению вполне соответствовала внешность писателя. Небольшого роста, близорукий, в пенсне на широком шелковом шнурке, Арцыбашев походил на старого сту-

дента семидесятых годов. В длинной черной рубашке, опоясанной ремнем, в высоких сапогах, он казался моложавым, а легкая походка выдавала в нем любителя спорта. Он был первоклассным бильярдистом. Но здоровье его было некрепко: туберкулез медленно и верно разрушал его. В то время Арцыбашев уже почти оглох и не слыша самого себя, говорил тонким и высоким фальцетом. Это значительно затрудняло беседу с ним.

При всем этом я никогда не видел Арцыбашева угнетенным. Своим фальцетом он часто выпевал остроумные и добродушные шутки по адресу своих друзей. Он сразу находил с новыми знакомыми простой и приветливый тон. В какое время дня вы бы к нему ни приходили, комната его всегда была полна народа. Какие то неудачные писатели, газетные репортеры и дамы-поклонницы всегда наполняли его квартиру, шумели. В комнате от папирос стоял дым столбом. Я часто думал, когда же Арцыбашев находит время для работы. Днем у него гости, вечера он проводит в «Вене».

После революции Арцыбашев уехал в Польшу. С ним произошел огромный сдвиг, он стал писать в духе самого откровенного черносотенства. От его бывшего народничества не осталось и следа. В этой перемене, вероятно, большую роль сыграла его болезнь. Оглохший, потерявший зрение, почти неспособный к борьбе за существование, Арцыбашев опустил и потерял веру в людей. Он умер от туберкулеза, который раз'ел его физически и разрушил нравственно.

В той же «Вене» я часто встречал Куприна, этого последнего романтического писателя предреволюционной эпохи. Отрешение от действительности, любовь к абсолютно-прекрасному, обожествление сильного, — были его сущностью. Куприн с нескрываемым отвращением относился к тому, что мы называем «продуктом современной цивилизации». Личность, ограниченная условностью светского существования, причесанная физически и нравственно, привязанная к огромному возу социально-буржуазных предрассудков, была ему органически противна.

Робкий и сдержанный по характеру, он внутренне кипел, испытывая бессилие и тоску, когда ему приходилось быть как все, разговаривать как все и вести размеренно-приличное существование модного писателя. Он чувствовал простых и незараженных ядом условностей людей. Ненавидя актеров,

он обожал клоунов. Не зная, быть может, истории театра, он чувствовал, что клоун — это кумир нетронутого цивилизацией человека.

При таком умонастроении Куприн не мог не чуждаться людей. Чем больше он робел перед «светом», тем больше он его ненавидел.

Вспоминаю банкет, устроенный издателем «Биржевых Ведомостей» Пропером по случаю юбилея газеты. Присутствовал весь Петербург. В концерте выступали артисты императорских театров: Медея Фигнер, баритон Яковлев, Мария Гавриловна Савина и целый ряд других знаменитостей.

В одном из антрактов, неожиданно на эстраде появляется фигура в сером пиджачишке, плотная, коренастая. Это был Куприн. — Сейчас, господа, начал он, перед вами выступит один из самых талантливых артистов, которых я только знаю в России. Это мой друг, уважаемый и почтенный куплетист Убейко.

И сейчас же вслед за ним в костюме горьковского босяка выскочил на сцену Убейко, даровитый, но вульгарный актер кафе-шантана и к великому смущению Пропера и всей публики запел какой то разухабистый номер. Ясно было, что Куприн подготовил это специально для конфуза чопорного общества. Произошло замешательство. Публика поднялась с мест. Убейко продолжал что то петь, но концерт был сорван.

Но не только одна внешняя форма раздражала и возмущала Куприна. Любя простых людей, Куприн ненавидел торгашей так же сильно, как и салонных расфранченных дам, в присутствии которых он, случалось, демонстративно целовал ручку погибшим, но милым созданиям. При этом он жеманился, шаркал ногами и изображал из себя рыцаря.

Но я видел Куприна совсем другим, робким и внимательным. Я видел его в обществе молодой курсистки, ничем не замечательной, кроме ее цветущей молодости. Не помню начала разговора, но Куприн говорил о женщине, о ее предназначении, о материнстве, о ее высшей духовной ценности. Он находил какие то особые слова. Пламенные мысли, яркие художественные сопоставления, так и сыпались у него искрящимся каскадом. Прошло более тридцати лет с того памятного вечера, и всегда, когда я вспоминаю этого Куприна, я

испытываю обиду и сожаление, что не записал тогда этой изумительной импровизации.

Совсем непохожим на свое окружение представляется мне теперь в отдалении времени писатель и поэт Федор Сологуб. Имя его не утратило своего значения в литературе и по сей день.

Роман «Мелкий Бес» остался в ряду классических произведений начала нашего столетия, а «Передоновщина», несмотря на то, что быт и социальная структура русского общества радикально изменились, все же не оказалась изжитой. Кто во времена Сологуба верил в существование чорта? Тем не менее Недотыкомка, как и «бесы» Достоевского — явление реальное, всем понятное и человеку присущее. Наряду с Иудушкой Головлевым, Кабанихой, Смердяковым и другими страшными образами русского быта, продолжает жить и Передонов.

Сам Сологуб в его поэтическом творчестве стоит совершенно особняком. Это, кажется, единственный в нашей литературе писатель, обожествляющий небытие и смерть. Превосходная литературная форма Сологуба может еще увлечь читателя, но путь, по которому он его ведет и конечная цель этого пути, отталкивают от него. Сологуб остался в литературе, как большой поэт, как мастер стиля, и в то же время, это трагически одинокая фигура, не нашедшая подражателей.

Эти мысли и чувства владели мной уже тогда, когда я впервые встретил Федора Сологуба у известного литератора Павла Берлина, тогда со-редактора журнала «Новая Жизнь».

Сологуб пришел со своей женой, поэтессой и переводчицей Анастасией Чеботаревской. Среди присутствовавших я был самым молодым и чувствовал себя несколько стесненным, как провинциал, попавший в столичное общество. Я сидел напротив Федора Кузьмича и внимательно его рассматривал. В лице его были черты необычного. Голый череп без единого волоска выделял точные формы костей и несколько пугал своей близостью к анатомии. Мало выразительные глаза смотрели куда то за пределы видимого. Даже когда Сологуб смотрел на вас, то казалось, что он уходит куда то далеко, словно пронизывая вашу материальную форму и заглядывая в иную, вам неведомую даль. При этом Сологуб был исключительно молчалив. Пока мы сидели в маленькой сто-

ловой вокруг длинного стола, Сологуб не проронил ни одного слова. Его молчание меня особенно интриговало. Мне хотелось хотя бы услышать его голос.

Потом все перешли в гостиную. Поднялся общий разговор. Анастасия Чеботаревская вспомнила Москву и с умилением говорила об этом городе, как о самом ей близком.

Как пламенный сторонник Петербурга я набрался духу и рискнул ей возразить. Москва уже тогда казалась мне городом, постепенно терявшим свой величавый древне-русский облик. Она стала обстраиваться многоэтажными домами, напоминавшими Европу, и уголки древней деревянной Москвы рядом с новыми улицами, создавали, как мне казалось, резкий и неприятный контраст. Это было смешение чуждых и враждебных стилей, какая то мешанина, совсем противоположная строгому, сухому, но выдержанному по стилю Петербургу.

Все это я высказал с убежденностью молодости, но признаюсь, говорил исключительно в надежде, что найду отклик у писателя, перед которым я испытывал чувство благоговения. К нему я, собственно говоря, и обращался. Закончив тираду, я замолчал. Молчал и Сологуб. Он смотрел куда то равнодушно, словно через мою голову, и не произнес ни одного слова.

Не выдержав молчания я обратился непосредственно к нему:

— Позвольте узнать ваше мнение по этому вопросу, Федор Кузьмич.

Сологуб, с тем же устремленным поверх меня взглядом, ответил:

— Я с вами несогласен.

И больше ни одного слова не удалось мне услышать от него за весь вечер.

Через несколько лет, беседуя с критиком Корнеем Чуковским, я как то упомянул об этом случае. Подтвердив мои наблюдения, Чуковский рассказал мне эпизод из своих личных встреч с Сологубом.

Чуковский проживал тогда в Финляндии, в Куоккало. Приехав по делам в столицу и засидевшись поздно в редакции, он решил где нибудь заночевать и вспомнил, что неподалеку живет Сологуб.

Сологуб отвел ему большую комнату, спальню жены, которая в то время куда то уехала.

Оставшись один, Чуковский разделся, зажег лампу и стал читать первую попавшуюся под руку книжку.

Тишина в комнате была зловещая.

— Я, рассказывает Чуковский, поразился обилию картин в блестящих золотых рамах. В темноте большая комната со сверкающими рамами производила жуткое впечатление. Казалось, какие то тени бродят в ней. Ни одного звука, ни малейшего шороха не долетало в этот мрачный зал. Я долго не мог заснуть. Вдруг я увидел перед собой фигуру человека с лысым черепом, в сером халате. Это был Сологуб.

— Он уселся рядом со мной в глубокое кресло, не говоря ни одного слова. Я продолжал делать вид, что читаю. Сологуб молчал. Молчание это становилось до того тягостным, что у меня даже дрожь пробегала по телу. Чтобы как нибудь прогнать жуткую тишину, я решил заговорить. Мне казалось, что звук моего собственного голоса выведет меня из состояния невыносимого оцепенения.

— Какое у вас, Федор Кузьмич, великолепие, сказал я первую пришедшую мне в голову фразу. — Какое богатство и как много позолоты.

Голый череп Сологуба повернулся ко мне и глядя поверх меня в пустоту темной залы, Сологуб сказал:

— Я еще и не то сделаю. Я еще себе лысину позолочу. И замолчал.

Кто мог подсказать ему такую дикую и явно каррикатурную мысль? Это все та же знакомая нам увертливая Недотыкомка из «Мелкого Беса», подсознательный голос чорта, руководящего побуждениями человека.

Дешевая мишура Сологубовского дома вовсе не свидетельствует об отсутствии вкуса у писателя. Современник и спутник Брюсова, Блока и Вячеслава Иванова, Сологуб превосходно понимал художественные задачи своего века. Но именно потому что понимал, он и делал попытку их отвергнуть. Жизнь обманывает нас прекрасными образами искусства, но так как жизнь, — по Сологубу, — обман вообще, то нет большего удовлетворения для свободного духа человека, как насмешка над тем, чем человек больше всего гордится — его знанием, его искусством, его художественной непогрешимостью. Поэтому, да здравствует анти-эстетизм, да торжествует уродство! Позолоченная лысина, — что может быть громче, забавнее и злее насмешки над человеком,

над той черепной коробкой, в которой гнездится гордая мысль в ее ослеплении идеей вечного существования?

И Сологуб замолчал. Угрюмый, он жил в одиночестве после трагической смерти жены, в припадке безумия бросившейся с Николаевского моста в Неву.

Сам Сологуб скончался в 1927 году, непримиренный с жизнью и может быть встретивший конец свой, как желанное избавление.

Мне хочется в заключение сказать еще несколько слов об эпохе, этих писателей породившей.

Это был особенный период. Поворот пришел после 1905 года. Власть по инерции считала себя полновластным опекуном российского обывателя. Но сам он уже вышел из под опеки. В русском человеке развернулись новые силы. Необъятная страна переживала весну возрождения. Как ни пытались нас убедить, что никакой перемены не произошло, и что по-прежнему Россия спит под серым пологом реакции, народ и его выразитель интеллигенция, этого не признавали. Звенели на разные голоса песни печальников народных. Никто не думал и не хотел думать, что борьба еще не окончена.

СЛОВО О ПЕТЕРБУРГЕ

Когда Петербург оказался под угрозой, Ворошилов сказал: не пустим врага в наш прекрасный город. Даже в момент опасности, вырвался именно этот эпитет: прекрасный. Город, созданный по строгому замыслу, город стройного внутреннего ритма, подобный поэме, в котором каждая его часть является отдельною песнью.

Для нас, родившихся и выросших в Петербурге, каждый его камень священен и незаменим. Но Северная Пальмира поражала своей исключительной, торжественной красою всех, кто побывал на берегах Невы. В Париже, незадолго до своей смерти, Райнер Мариа Рильке говорил нам, что никогда не мог забыть Петербурга, в котором пробыл недолго: там, казалось ему, даже камни одухотворены и служат иной, необычной цели.

Петербург не родился органически, как другие города, развившиеся из маленьких поселков у берегов рек. Так основалась и ширилась Москва в центре водной системы русских рек, так некогда рождалась Лютетия, впоследствии ставшая Парижем, — и Рим, уходящий своим рождением в легендарную древность, когда волки и люди ходили общим стадом и волчицы кормили человеческих детенышей. Эти города, как сердце в нашем теле, далеко отстоят от внешних покровов, от внешних границ государства. И такую столицу, крепко сросшейся с реальностью, была Москва.

Не так родился Петербург. Петербург — единственный в мире город, созданный отвлеченной идеей гения. Это как бы величаящая ода, высеченная в граните и камне. Чудо его рождения отразилось на всем его внутреннем облике, придав ему обостренную духовность и озарив его почти фантастически ярким светом.

Петербург встал из финских болот, как грозное марево, «на зло надменному соседу». Быстротой своего явления, по воле Петра, он подобен тем волшебным дворцам, которые в сказке возникали в одну ночь и поражали соседнего короля,

внезапно видящего перед собою, вместо вчерашней пустыни, сверкающие на солнце чертоги.

Город вызван был из топи болот не личной прихотью властителя, а государственной необходимостью: «отсель грозить мы будем шведу».

И вслед за возникновением этого северного оплота России, исчезло, как дым, могущество шведского короля. Петербург стал не только новою столицею, но пограничной крепостью России, и значение это, данное ему Петром, сохранилось по сей день:

Вражду и плен старинный свой
Пусть волны финские забудут
И тщетной злобою не будут
Тревожить вечный сон Петра.

Пушкин называет Петербург «военною столицей» и воспевает «его твердыни дым и гром».

Строгость, чинность Петербурга, отразившаяся на всем облике исконного петербуржца и заставлявшая считать его холодным, связана с присутствовавшей ранее в столице военной дисциплиной и с этой ее ролью твердыни России. Адмиралтейский шпиц высился над городом, и за широкой Невой гляделась в воды грозная Петропавловская крепость: «и штык светил, и плакали куранты».

Петербургские церкви не играли причудливыми формами и красками, как московский Василий Блаженный, не восхищали взгляда стенными фресками, как Успенский собор. Нет, темный, массивный Исаакий мраморными колоннами так грузно опирался на землю, что она поддавалась под ним и за целостность его была постоянная тревога. А когда в пасхальную ночь зажигались огни, и фигуры Ангелов на четырех углах держали над ним пылающие факелы, их трепетное пламя отбрасывало на него еще более плотный покров теней. И Казанский собор, опоясанный тяжелою лентою колоннад, крепко вковался в свою площадь на Невском, и не улетал легкой колокольней ввысь, как старые русские храмы. Плотнo вбивали Петербург в топкую землю, чтобы придать родившей его идее большую незыблемость и ясность.

Петербург отличала стройная логика его ансамблей. Улицы и кварталы не складывались случайно из непредвиденного

подбора домов. Нет, зодчие выводили кварталы так, чтобы они составляли архитектурное целое и отвечали своему назначению. Так создан великолепный ансамбль Зимнего Дворца и Главного Штаба с разбегающимися в обе стороны роскошными набережными. Так создана стрела Невского, направленная к Адмиралтейству, с ее торговой частью у Садовой. И нежной краскою полон волшебный Летний Сад, так необычайно поставленный среди своего окружения.

Короткая, Театральная улица, с одной стороны замыкавшаяся Цепным мостом, а с другой упиравшаяся в задний подъезд Александринского театра, великолепием архитектурного ансамбля, строго выдержанного в одинаковом стиле, — говорила о протекавшей здесь жизни.

Оживленный деревьями, разграфленный по линиям, Васильевский остров составлял совсем особый мир. И полу-деревенская Петербургская сторона, и даже широкий Обводный канал с плечистыми ломовыми, — каждая часть Петербурга являла глазу свой определенный характер и обладала собственной душою.

Каждый ансамбль определял кусок жизни, — и какой интенсивной жизни!

Гений Петра продолжал жить в его творении. Как богатыри русской сказки, с волнами выходящие на берег, Петр обходит ночным дозором свою столицу:

Он будет город свой беречь
И заалев перед денницей,
В руке простертой вспыхнет меч
Над затихающей столицей.

Город Петра родился необычайно и необычайной была вся его жизнь. Весеннее половодье, когда «взломав свой синий лед, Нева к морям его несет», стало символом новой, петровской России. Петр уволок Россию ото всего старого, перетащил от Москвы с ее воспоминаниями в новое место, поставил лицом к врагу на оголенном берегу и, разбив былую московскую тишину, одарил свой Петербург великою, но страшною судьбою, о которой скорбит поэт:

Россия-мать, как птица
Тужит о детях, но ее судьба,
Чтоб их терзали ястреба.

Там, над бездною, должны были русские люди творить петровскую Россию, — и это навсегда отразилось на душе Петербурга.

Фальконет изобразил Петра в позе Георгия Победоносца, давящего змея под копытами своего коня. Этот, воспетый Пушкиным образ «Гиганта на бронзовом коне», поставившего «своею волей роковой» торжественный и величавый город у предела страны — стал неотделимым от Петербурга и к нему возвращаются потом все поэты.

Образ Петра поражает не только могуществом и волею:

Ужасен он в окрестной мгле!
Какая дума на челе!
Какая сила в нем сокрыта!

Со времени пушкинского «Медного Всадника» идея Петербурга, идея России сливается с бегом коня, летящего к неизведанным судьбам:

Куда ты скачешь, гордый конь,
И где опустишь ты копыта?

Блок перед несущимся на звонко-скачущем коне Петром задает тот же пушкинский вопрос:

И страшно: белой ночью оба,
Мертвец и город заодно...
Какие ж сны тебе, Россия,
Какие бури суждены?

Весь Петербург в полете, в устремлении, в движении, которое дал ему его создатель, «мощный властелин судьбы».

Юный город не сразу открыл свою душу. После смерти Петра закружилась над ним метель, пытаясь замести петровы тропы. Странные потехи разыгрывались тогда над Невой. Сверкая огнями, выступал из мрака дворец из чистого льда, с ледяными орнаментами, с тонким льдом вместо оконных стекол, с ледяными пушечками, с померанцевыми деревьями, и птицами на ветвях, с кричащими трубою слонами, выбрасывающими горящую нефть, с мебелью и замысловатою утварью, с большими покоем и расписными ставнями, — даже с

Н о в о с е л ь е

ледяными дровами, облитыми нефтью, — все из чистого льда.

В этом ледяном дворце Императрица Анна Иоанновна праздновала свадьбу шута и шутихи, воспетую Третьяковским:

Да здравствуют женившись, дурак и дурка!
Еще - то - то и фигурка!

Первоначальный Петербург с его домиками и крылечками на подобие теперешних пензенских, с его ветряными мельницами, с березовой рощей у деревянного Гостиного Двора, с Большой Перспективой, с флотилией цветных лодок на Неве без мостов — быстро вырос в царственный город Фелицы, дарившей Державина своею милостивою улыбкой.

Вместе с ним росла русская поэзия, свившая гнездо в граде Петра. Поэт должен был быть в то же время ученым, строить грамматику, создавать ритмы, ковать русский язык нарождавшейся письменности, изучать нужные России науки — «не право о вещах те думают, Шувалов, которые стекло чтут ниже минералов» — и выполнять «социальный заказ» тогдашнего государства.

От первого строителя русской поэзии, Третьяковского, — через Ломоносова и Державина — в короткий век Петербург пришел к Пушкину.

Пушкин не только воспел город Петра, которому он посвятил свою Музу. Он разорвал завесу дня и впервые показал город белых ночей, город странных видений, город, над которым властвует Медный призрак, «озарен луною бледной, простерши руку в вышине».

Пушкин воспел главную стихию петербургской природы, и, оглянувшись, как Евгений, мы увидали, что, подобно Венеции, Петербург изрезан каналами и реками, пронизан водою. Из неукротимых вод встает он мрамором своих дворцов:

Кругом него —
Вода и больше ничего.

Зыбкая, текучая и страшная стихия. И белые туманы, прозрачные настолько, чтобы лишь одеть реальные контуры миражем. И белые ночи с их вместе сдвинутыми зорями.

Когда Пушкин говорит о Москве, ему является живой

образ города с будничными подробностями: «будки, бабы, мальчишки, лавки, фонари». Но когда взор его обращается к Петербургу, ему рисуется Пиковая Дама с ее неразрешимыми загадками, мчащийся ночью на звонко-скачущем коне Медный всадник, — и весь город, как ризой, одевается лучезарной таинственностью.

Двойственность Петербурга — царственного города, в котором воплощена государственная идея России, и в то же время города-призрака, окутанного тайною и готового улететь вместе с туманом — города, по внешности чопорного и строгого, но внутри кипящего буйной молодою жизнью, — открылась впервые Пушкину. Державинские строфы говорят лишь о величавой столице.

После Пушкина город-призрак почти вытесняет образ города живого, пламенного в своих стремлениях. Гоголь видит «Фантазмагорию» на Невском Проспекте; там его герой, бегущий за Незнакомкою, смешивает явь и сон. По Невскому, где «все обман, все мечта», разгуливает сбежавший Нос майора Ковалева, — и, растворясь призраком после столь реального существования, срывает шинели с прохожих мертвый Акакий Акакиевич, родоначальник «бедных людей» в лигатуре. Все странные сны грезятся Гоголю именно на улицах чинного и казалось бы столь придерживающегося строгой действительности, Петербурга. «Подростку» Достоевского кажется, что весь город может разлететься и исчезнуть вместе с туманом. Петербург видится Достоевскому только сквозь призрачную мглу.

Угрожающе призрачным увидел Петербург А. Белый.

И как Гоголю на Невском проспекте, так Блоку на улицах Петербурга является его Незнакомка и за белизною его ночей почти исчезает для поэта реальный наш Петербург. Все стихи он слагает городу, прячущемуся в зыбком тумане:

О город мой неуловимый!
Зачем над бездной ты возник...

Блока страшит близость

площади завороженной
и опрозраченной зарею.

Он больше не узнает знакомых черт:

Здесь незнакомая столица,
Здесь может странный сон присниться
Пред ним померкнет разум твой.

Блок видит над городом не только простертую в непоколебимой вышине руку Гиганта, не только Державный Основатель является ему на головном Фрегате впереди чудесного Флота — то сон иль явь? — чтобы охранить свой город, «заградив Неву». Иное видение чудится Блоку на заметенных улицах Петербурга:

И за вьюгой невидим,
И от пули невредим,
Нежной поступью надвьюжной,
Снежной розсыпью жемчужной
В белом венчике из роз
Впереди Иисус Христос.

Когда «порфиноносная вдова» вернулась на царство и покинутый Петербург, перестав быть столицей и потеряв свое имя, оделся снегами и вьюгами, он, казалось, действительно стал призраком, белыми ризами сверкающим привидением. И странно: так крепко держал Петр свой город, что никому больше не было в нем места.

Жизнь Петербурга как будто направлялась страстной энергией Петра, не оставившего город и после смерти. Какая кипучая и духовная жизнь всегда была в Петербурге. Не в Петербурге ли возник самый необычайный бунт во всей истории — бунт Декабристов, не требовавших для себя прав, как это бывало при всех восстаниях — а напротив, требовавших, чтобы у них были отняты отличавшие их от народа, особые права.

Какое кипение творческих сил было в Петербурге. Какое обилие дарований. Поистине это кажется чудесной «Фантазмагорией». Каждая эпоха была отмечена буйным цветением. Каждая несла собственную красу.

Из стихов Пушкина волшебным сиянием встает дивный и мощный город, в котором все стройно очерчено, все движимо гармонией.

Смятенный, но еще ослепительный город встает из стихов Блока, город, уже трепещущий под ветром, но еще бли-

стающий всеми огнями: на фоне общественного, литературного, художественного кипения несется его блистательная жизнь, мчатся под синими сетчатыми попонами с длинными кистями, великолепные кони, впряженные в щегольские сани с меховыми полостями, горят огни в исполинских залах любившего большие масштабы Петербурга

И так же конь неслышным смехом
Коню навстречу отвечал
И черный ус, мешаясь с мехом,
Глаза и губы щекотал.

И рев Невы, ломавшей льдины, не мешал поэтам собираться для импровизированных стихов и для споров о ритмах, не мешал строиться самым разнообразным и самым смелым художественным затеям, — пока весь домик Параши не оказался сметенным волнами и брошенным на чужой берег. В поросшем травой, затихшем Петербурге все казалось унесенным навеки.

Но когда воды вошли в берега, тихо воскресал оставленный Петербург, снова закипал мечтами и спорами, и так же зачарованные тысячелетиями, выщербленные сфинксы гляделись в синие невские глаза, и так же высился Эрмитаж, и на вздыбленном коне, остановив его над бездною, летел вперед неутомимый Всадник. Не он ли теперь «заградил Неву», как в блоковском видении? Когда «в белом венчике из роз», — из мученических роз, — издали встает теперь перед нами новое видение Петербурга, — города, от рождения не оскверненного ничьей вражеской пятою, — мы узнаем под скорбным и смиренным его новым одеянием, все тот же нетленный лик Петербурга, гордого Петербурга, созданного «на зло надменному соседу», Петербурга со всей его, и в муках немержнувшей, торжественной красою, города, на котором почиет пророческое благословение Пушкина:

Красуйся, град Петра, и стой,
Неколебимо, как Россия.

«Слово о Петербурге» было произнесено автором на вечере «Новоселья».

ОДНА ИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ПУШКИНСКОЙ ЭПОХИ

Петербург — Ленинград — пореволюционный Петербург — два лика одного и того-же Великого Города.

Революция и Империя, — две ненавидевших друг друга сестры, — в нем росли, крепили и бились на смерть пока, наконец, имперская Революция не сразила императорскую Империю.

Россия — революционная страна, революционная — Империя. Как в гигантском фокусе в Ленинграде встречаются, сталкиваются, перекрещиваются эти две основные струи русской истории последних двух столетий: развитие, укрепление, упадок императорской Империи, зарождение, развитие, победа имперской Революции. Революционный лик Истории смотрит отовсюду в Ленинграде.

С Церковного переулка — теперь Радищева, с Сенатской площади — теперь Декабристов, с Пантелеймоновской — теперь Пестеля, со Спасской — теперь Рылеева, с Воскресенского проспекта — теперь Чернышевского, с Большой Морской — теперь Герцена, с Калашниковского переулка — теперь Бакунина, с Большой Конюшенной — теперь Желябова, с Миллионной — теперь Халтурина, с Фурштадской — теперь Петра Лаврова, с Казанской площади — теперь Плеханова, с Захарьевской — теперь Каляева, с Николаевского моста — теперь Лейтенанта Шмидта.

Но также сверкают своим великолепием дворцы и храмы великих зодчих, вдунувших в каменные массы, — запечатлевших в них, — разбег Империи и энтузиазм российской судьбы.

И мысль в Ленинграде невольно возвращается к удивительной эпохе в жизни удивительного Города, к эпохе могущей быть определенной двумя словами: к Пушкинской эпохе.

К той эпохе, в которой был закончен убор столицы, в которой был выкован русский литературный язык, в которой родились современные: русская живопись, русская скульптура, русский театр, русский балет, русская музыка, русская литература. К эпохе, увенчанной великими победами. К эпохе, грома орудий первой русской Революции на Сенатской площади!

К той замечательной эпохе, когда в Петровой столице чередовались и сосуществовали гении... И когда впервые, — Ломоносов не в счет, — из «низов» народа на столичные духовные «верхи» поднялись в большом числе талантливые, и часто гениальные, «самородки» и когда в результате этого слияния двух якобы полярностей зародилась интеллигенция....

Об этом замечательном выходе на вершины русской жизни людей «из народа» я и хочу напомнить в кратких по необходимости строках.

Я не стану говорить о детях бедных сельских священников, как Н. И. Наеждин, выдающийся ученый, знаменитый издатель «Телескопа»; как А. В. Кольцов, сын воронежского мещанина и прасол; как братья Н. и К. Полевые, дети купца; как Андреян Дмитриевич Захаров, гениальный зодчий и первый русский профессор архитектуры, строитель Адмиралтейства, одного «из оригинальнейших и лучших в истории искусства созданий»; как многочисленные сыновья мелких чиновников, бедных офицеров, торговцев, мещан, ремесленников и всякого рода разночинцев не дворянского происхождения.

Я остановлюсь на нескольких замечательных представителях крепостного и крестьянского сословия. Их молниеносное восхождение на вершины «пушкинской эпохи», — эпохи чуть раньше рождения и чуть позже смерти Пушкина, — обясняет и нынешнее русское «чудо»: массовый национальный подъем русского народа, нынешнее обилие талантов и нынешний подготовительный период к эпохе грядущего грандиозного русского Ренессанса.

Начну с Андрея Никифоровича Воронихина, знаменитого русского зодчего, живописца и ученого. Он родился крепостным графа Строганова, в селе Новое Усолье, Пермской губернии. Умер в 1814 г. Отпускную получил 27 лет, будучи уже знаменитостью. В 35 лет — академик, строитель чудесных дворцов и храмов, украшающих Петербург — Ленинград

и его окрестности: Стрельну, Гатчину, Павловск, Петергоф (колоннады и каскад) и др. В Петербурге им построены в числе прочих, Строганова Дача на Черной речке, Горный Институт, Государственное Казначейство и собор Казанской Божьей Матери с необычайно изящным куполом и с легкой, широкоразвернутой, роскошной коринфской колоннадой, — одно из завершений неогреческого стиля Империи, — стиля, начатого Палладио, перенесенного на север Джонсом и завершенного Ворониным. Упреки в «псевдоклассицизме» — неосновательны. Собор завершает великую архитектурную идею, и Воронихин — гениальный зодчий.

О внутренности храма нам говорят стихи Пушкина:

Все спит кругом. Одни лампы
Во мраке храма золотят
Столпов гранитные громады
И их знамен нависший ряд.

В Казанском Соборе — Божья Мать Ореста Адамовича Кипренского, — «одного из замечательнейших живописцев-художников, когда либо являвшихся в России», — сына крепостного дворового человека А. Швальбе, принадлежавшего бригадир Дьякову, определившему его в Академию Художеств и давшему ему отпускную. Кисти Кипренского мы обязаны рядом прекрасных портретов и картин, рассеянных повсюду. Ей же принадлежит и портрет Пушкина, несколько приукрашивший поэта, о чем Пушкин и говорит в стихах (1826 г.), посвященных Кипренскому, «любимцу моды легкокрылой»:

Себя, как в зеркале, я вижу,
Но это зеркало мне льстит.

И если уж говорить о портретах Пушкина, то лучший из них тот, который передал нам точно черты поэта, — творение Василия Андреевича Тропинина, крепостного человека графа Моркова.

Граф послал Тропинина в Петербург учиться кондитерскому ремеслу, но все же определил его, затем, «посторонним учеником» в Академию художеств.

Только в 1823 г., — 47 лет, — Тропинин получил личную отпускную (сын его оставался крепостным!) и через год звание академика... Тропинин был первоклассным, — если не лучшим, — русским портретистом.

Многие скульптурные работы Казанского Собора, некоторые фигуры и барельефы Адмиралтейства и церкви Всех Скорбящих, ростральные колонны против Биржи, набережная Биржи — создание ваятеля Самсона Семеновича Суханова, сына крестьянина пастуха Вологодской губ. (Он же — творец памятника Минину и Пожарскому). Суханов умер в 1820 г.

Совершенно изумителен другой, — великий ваятель, — сын солдата лейб-гвардии Преображенского полка, Феодосий Федорович Щедрин. Его воины на аттике Адмиралтейства и декорации портала являются чудеснейшим из украшений столыцы, так же как и скульптуры Биржи и Казанского Собора. Умер в 1825 г. Его брат, Семен Федорович, — академик, как и брат ваятель — был известным художником пейзажистом. Его сын Сильвестр Феодосьевич — знаменитый художник пейзажист. И, наконец, Апполон Феодосьевич Щедрин — академик архитектор.

К той же плеяде ваятелей принадлежит Демут - Малиновский, сын резного дела мастера (ректор Академии по скульптуре), чьи творенья украшают Биржу, Казанский Собор, Адмиралтейство; Демут-Малиновский, входящий в великую триаду: Росси, Пименов и он, — завершившую Аркой Главного Штаба, — с летящей над ней Победой, убор Петербурга и Империи.

Другом Пушкина, Гоголя, Белинского и Грановского, был знаменитейший русский артист, Михаил Семенович Щепкин, сын дворового крепостного человека графа Волкенштейна. Белинский считал его игру «творческой - гениальной». Гоголь написал для него городничего в Ревизоре. Герцен говорил о нем: «Его все любили без ума».

Князь Репнин, полтавский генерал-губернатор, собрал те 10,000 рублей, за которые тридцатилетний Щепкин был выкуплен из неволи.

От М. С. Щепкина пошла целая династия ученых и общественных деятелей: Дмитрий Михайлович, Вячеслав Михайлович, Николай Михайлович, Евгений Николаевич Щепкины.

Одно время Пушкин был влюблен в знаменитую русскую трагическую актрису Екатерину Семеновну Семенову, «боль-

шую», впоследствии княгиню Гагарину, дочь крепостной девушки Дарьи, подаренной помещиком Путятю учителю кадетского корпуса, Жданову.

Черты ее лица были классически правильны. Необычайной красоты она походила на древнюю камею. Гибкий контральтовый голос довершал очарование.

Пушкин писал: «говоря о русской трагедии, говоришь о Семеновой, — и, может быть, только о ней».

У другой знаменитой, — Нимфодоры Семеновны, — Семеновой, «меньшой», оперной певицы, тоже из крепостных, собирались часто Пушкин, Грибоедов, Гнедич, Жуковский.

Надо упомянуть о таком же скромном происхождении великого оперного певца Василия Михайловича Самойлова (умер в 1837 г.). Его сын был не менее выдающимся артистом.

И знаменитый русский трагик, муж не менее знаменитой драматической артистки Колосовой, которой тоже так увлекался Пушкин, Василий Андреевич Каратыгин, был сыном придворного садовника, ставшего писателем, актером и режиссером. Сын Василия Андреевича, Петр, был известным актером-комиком.

Великий русский драматический артист, Павел Степанович Мочалов, открывший России Шекспира и вызывавший восторги своих современников и Белинского, родился крепостным. Его отец, Степан Федорович, — тоже большой актер на амплу трагика, — был отпущен Демидовым на волю, уже после рождения сына.

И, конечно, говоря о российских музах, нельзя не упомянуть о Михаиле Матинском, писателе, математике и композиторе, крепостном человеке графа Ягужинского. В юности Пушкина оперы Матинского «Петербургский Гостинный Двор» и «Перерождение» пользовались большим успехом. Учитель математики в Смольном Институте, он был, к тому же, автором «Начальной геометрии» и «Мер и весов». Умер в 1820 г.

Был другом Пушкина и знаменитый русский историк, филолог, археолог, коллекционер и публицист Михаил Петрович Погодин, профессор истории и академик (по отделу русского языка и словесности), крепостной графа Строганова. Ф. И. Буслаев рассказывает, как Погодин (на год моложе Пушкина) сообщил студентам о смерти Пушкина: «Приходит Михаил Петрович, весь взволнованный, бледный, измученный, сам не свой, — едва можно узнать его, точно после тяжелой

болезни. Садится на кафедру и в течение нескольких минут не может промолвить ни слова; наконец, задыхаемый рыданиями, передает нам о великом бедствии, постигшем Россию: Пушкина не стало; он помер!»

Современниками Пушкина были и Иван Никитич Сибиряков, и Федор Никифорович Слепушкин, и Егор Ипатьевич Алипанов, и Михаил Дмитриевич Суханов.

Сибиряков, поэт, литератор и актер. В 1812 году, — уже артистом, — он был продан Маслову, взявшему его в походы слугой. В его тяжелой судьбе (он уже печатался) приняли участие окружение Пушкина и граф Милорадович. В 1812 г. Жуковский, Тургенев, Ф. Н. Глинка и Милорадович, — собрав доброхотные пожертвования, — выкупили Сибирякова за 10.000 рублей.

Слепушкин, — поэт и литератор, — был крепостным Екатерины Владимировны Новосильцевой, урожденной графини Орловой. Мальчишкой торговал с лотка. В 1826 году вышел первый том его стихов: «Досуги сельского жителя», за который Слепушкин получил от Академии Наук золотую медаль. И тут у Пушкина и его друзей возникла мысль о выкупе сельского поэта. Княгиня Юсупова взяла на себя хлопоты, и Слепушкин был выкуплен за 3.000 рублей.

Алипанов, — поэт, баснописец и драматург, — был крепостным секунд-майора И. А. Мальцева. Академия Наук наградила его за «Басни» серебрянной медалью и издала их на свой счет. Президент Академии, Шишков, исходатайствовал ему вольноотпускную.

Суханов, — известный поэт, самоучка, — сын крестьянина Архангельской губернии.

Крепостным был и Николай Филиппович Павлов, знаменитый журналист, очень известный в пушкинское время писатель, актер и юрист. Его отрывки из «Марии Стюарт» появились в 1825 г. в Московской «Мнемозине». И, конечно, он был вольнодумцем, побывавшим в ссылке. Его «Три повести» (Именины, Аукцион и Ятаган) Пушкин назвал «первыми замечательными русскими повестями».

Нельзя не упомянуть в списке этих выдающихся русских «самородков» Александра Васильевича Никитенко, одного из полутораста тысяч крепостных графа Шереметева. Шереметев не давал отпускной своему талантливому крепостному, уже ставшему секретарем провинциального отдела «Библейского

Общества». Князь А. М. Голицын и члены «Тайного Общества» (по просьбе К. Ф. Рылева): — З. Г. Чернышев А. М. Муравьев, И. Анненков и др., — и ряд знатных дам добились, в конце концов, отпусковой для Никитенки, вскоре чуть не погребшего из за знакомства с декабристами.

В 1832 году Никитенко — ад'юнкт по кафедре русской словесности, в 1834 г. — профессор. Затем — академик.

Он был одним из просвещенных, благожелательных и знаменитых русских цензоров.

Сидел дважды под арестом. Один раз за пропуск перевода (сделанного Деларю): «*Enfant, si j'étais le roi*».

Виктора Гюго, другой раз — за пропуск повести «Гувернантка» Ефимовского с насмешливым отзывом о фельдегерях...

Он же отстоял выпуск полного собрания сочинений Некрасова. Его интереснейшим произведением является «Моя повесть о самом себе и чему свидетелем в жизни был», то-есть дневник, ведшийся им с 14летнего возраста, с того возраста, когда Никитенко в течение ряда лет «лелеял мысль о самоубийстве», из за того, что крепостное состояние закрывало ему доступ к среднему и высшему образованию. Никитенко познакомился, — будучи ее студентом, — в 1827 году, с Пушкиным у А. П. Керн. У той самой А. П. Керн, которую мы все знаем по бессмертным строфам:

Я помню чудное мгновенье;
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.

Список замечательных людей «из народа» пушкинской эпохи можно было бы продолжить. Но и уже приведенного вполне, — мне кажется, — достаточно, чтобы утверждать, что в Петербурге, в пушкинскую эпоху, началось то животворящее слияние всего лучшего, — что было на «верхах» и на «низах» русского народа, — которое положило начало великому явлению русской жизни: русской интеллигенции. Достаточно этого и для другого утверждения: нынешняя русская талантливость и нынешняя русская тяга к творчеству и к образованию — явления не новые. Они в характере, — в самой природе, — русского народа. Петербург пушкинской эпохи нам об этом ясно говорит. Революция только убрала последние рогатки, стоявшие на пути одаренности русского народа.

ПИТЕР И ПЕТЕРБУРГ

Эмиграция всегда живет в прошлом. Прошлое — предмет ее веры и суеверия, культа и поклонения: в нем она черпает утешение за горькую обиду на жизнь, обиду на то, что она оказалась непонятой и отверженной. В мечте о неотвратимом, по ее мнению, реванше прошлого она видит доказательство своей правоты. Прошлое — «raison d'être» эмиграции. Подобно старой наполеоновской гвардии она умирает, но не сдается.

Русская политическая эмиграция не является исключением. Она «ушла из дому», но не осознала, не пережила по настоящему всей глубины своего расхождения с народом, а потому и не смогла освободиться от иллюзии, с годами получившей силу убеждения, что на самом деле она разошлась не с народом, а с революцией и террористической властью. Революция не была ею понята, до ее сознания не дошло, что в России совершилось нечто бесповоротное и окончательное, пересмотру не подлежащее. Поэтому современная Россия для эмиграции — закрытая книга, загадка, которую она при каждом повороте событий пыталась и пытается разгадать: не есть ли это долгожданный реванш, не пришел ли настоящий день расплаты за то «зло», которое революция причинила России и... ей, эмиграции. Нечто подобное произошло и в отношении эмиграции к войне.

Война глубоко взволновала эмиграцию, которая поняла, что дело идет о самом существовании России. Да и кто знает, какие испытания и перемены готовит война России! Эмиграция решила быть с Россией, принять, однако, революцию не захотела и не смогла: «Мы за Россию, но против Сталина», — формула эмигрантского патриотизма. Во власти дорогого ей прошлого, она продолжала отделять Россию от революции, этого «кровавого интермеццо» русской истории. Переживаемый Россией национальный подъем, который поставил на ноги, бок о бок с Красной Армией, весь народ революционной страны, от мала до велика, от партизана Белоруссии

или Украины до «инородца» Кавказа, Туркестана или Сибири, был понят, как возвращение России «на круги своя», к исконно-русским национальным и патриотическим традициям, верным хранителем которых, в противовес «безнациональной» революции, всегда считала себя эмиграция.

Эмиграция проглядела образование в России новой — российско-советской — нации и рост национального самосознания народных масс страны. Фасад социальной революции скрыл от ее взора революцию национальную, которую Россия одновременно и параллельно переживала, и которая теперь, в дни страшной войны, проявилась особенно ярко. А между тем признаки этой национальной революции можно было уже заметить, когда восставшие российские плебеи, по словам Блока, готовы были палить в «Святую Русь», да и действительно палили в нее. Заметить это, между прочим, было нетрудно: ведь с этим «безнациональным сбродом», с «дермократией» — тоже словечко! — многие из эмигрантов сражались в «высоко-национальных» белых армиях, чьи вожди охотно обращались к иноземной помощи, словно «Великая Россия» — по терминологии того времени — только географическое понятие, с народной субстанцией не связанное. Где, на какой стороне была тогда Россия, не «великая», а народная? Где, на какой стороне было тогда национальное самосознание? У рыцарей «белой мечты» или у бойцов «дермократии»? Или Россия социальной революции уже больше не Россия?

С тех пор много воды утекло. «Уравниловка» революции создала реальные условия российского национального единства, и вместе с свободой от социального гнета развязала инициативу и энергию народа, дала ему пафос патриотизма. Нет более деления на Россию господскую, привилегированную и культурную, и на Россию мужицкую и сермяжную! Народ во всей своей толще почувствовал и осознал себя хозяином страны, хранителем ее судеб. Поэтому и затребовал себе — еще одна экспроприация! — и все историческое и культурное достояние России. Он ведь не случайный пришелец на русскую землю и не захватчик чужого добра: достаточно пота и крови пролили его отцы и деды на благо России.

Теперь о революции кричит во всеуслышание трагедия Империи. Ленинград сделал и выдержал то, чего предшественник его — Петербург — выдержать бы не мог. Он выставил

на «линию боя» людей всех классов и рангов, все свое гражданское население. Оно, пережив многомесячную осаду и потеряв от бомб, болезней и голода не то миллион, не то полтора миллиона жизней, — не сдалось на милость врага и не отдало на поток и разграбление любимого города. Сделать это Петербург не был бы в состоянии, так как страдал той же социальной «болезнью», что и вся Россия: он был разделен на Петербург и, как говорили, Питер, — два мира, друг другу враждебных. Кроме того, и сам то Петербург был разложен гниением Империи, был лишен воли и веры в себя. Он так же мало был способен на оборону, подобную Ленинградской, как и вся Россия была неспособна вынести бремя и жертвы первой мировой войны, оказавшейся последней в истории Российской Империи.

Петербург и Питер — символы дореволюционной России. Петербург — резиденция двора, правящей бюрократии и блестящей гвардии; центр политической и культурной жизни, отраженным светом которого Россия жила двести лет, но в то же время и российский Вавилон безумной роскоши и разврата, — а рядом с ним, бок о бок, Питер, город предместьев и застав, фабрик и заводов, нищеты и труда; город отщепенец, Петербургу чуждый; Петербург его боялся, и не раз ошестинивался на него штыками и салютовал ему оружейными залпами.

В противоположность Петербургу, Питер не оставил по себе памятников — ни в камне, ни в бронзе. Даже Нева, за пределами гранитных набережных Петербурга, не имеет того величественного вида, который ее прославил на весь мир. Уже не дворцы, не Сенат, не Петропавловская крепость окаймляют ее берега, а баржи и барки, амбары и склады, дымящие заводские трубы и унылые рабочие поселки. Не потому ли в эмиграции, где вспомнили сейчас, в связи с осадой Ленинграда, о Петербурге, об Адмиралтейской игле, шедевре архитектуры, и Медном Всаднике, так обстоятельно запамятовали о Питере?

А между тем именно Питер похоронил в дни революции императорский Петербург и зачислил его в ранг исторического музея. Именно рабочий и народный Питер, преобразовав по своему образу и подобию Петербург и став Ленинградом, пережил так, как мы знаем, осаду и оборону и превра-

тил беззащитный город в крепость, о которую разбилась тевтонская ярость.

Питер жил обособленно своими заботами и нуждами. То, что творилось и делалось в Петербурге, ему было чуждо, а порою и непонятно. Отчуждение было взаимным. В памяти старых петербуржцев, вероятно, сохранилась картина, как выходцы из предместий — строительные или ремонтные рабочие — с серыми от пыли лицами, глубоко запавшими глазами, с острым запахом извести и пота, двигались через город, гуськом или попарно, вдоль тротуаров, под недреманным оком городского, зорко следившего за тем, чтобы эти пришельцы из иного мира не стесняли «чистую публику».

Добрая половина петербуржцев не покидала свою Невскую или Нарвскую заставу, Выборгскую сторону или Голодай. Да и что им было делать в чужом Петербурге; и куда их в нем допускали? Только в дни особых событий — в революционные дни — питерцы, как океанский прилив, заливали улицы и площади Петербурга и, при отливе, оставляли на мостовых, вместе с растерянными предметами неказистой одежды, пятна крови, а порою и трупы.

Живя обособленно, Питер думал, однако, свою особую думу. В нем родилась русская революция. В нем она делала свои первые шаги. Другие рабочие и промышленные центры России следили за Питером и за ним следовали. Именно в нем сложилась замечательная рабочая интеллигенция, пролетарская руководящая элита, ставшая впоследствии, независимо от партийной окраски, костяком революции и явившаяся исторической сменой той русской интеллигенции, которая, вопреки своему прошлому, в революции себе места не нашла и была ею сметена и смята.

Последнюю войну дореволюционной России Питер принял холодно, с недоверием и сомнением. Своей войной он ее, во всяком случае, не считал. От Питера тогда нельзя было требовать таких жертв и усилий, какие дал сейчас Ленинград: рабочие Путиловского завода не стали бы работать под бомбами в полуразрушенных мастерских, голодные и холодные, как это делали теперь их сыновья на том же заводе, только переименованном в Кировский.

От Питера тогда нельзя было ожидать, чтобы люди, мужчины и женщины, не занятые непосредственно работой на оборону, с оружием в руках отсиживались вместе с красно-

армейцами в окопах и за баррикадами на подступах к городу. Чтобы это стало возможным — нужна была революция, которая уничтожила также и очаги социального неравенства — Петербург и Питер.

Лето и осень 1915 года были, пожалуй, в русско-германской войне решающими. Известия с фронта потрясали Петербург. В тревоге и патриотическом порыве он пытался «общественностью» — военно-промышленными комитетами — спасти положение на фронте и внутри страны, которую распутинщина гнала к пропасти.

А в это время на заводах и фабриках Питера, работавших на оборону, прокатилась волна забастовок, предтеча революции 1917. У меня сохранилось отчетливое воспоминание этого тревожного времени.

Мой близкий знакомый, штаб-капитан одного из гвардейских полков, Д., находившийся после ранения на излечении в Петербурге, вызвал меня к себе. У него я застал двух или трех офицеров старших чинов. Д. сообщил мне следующее. Командующий войсками Петербургского Военного Округа генерал Хабалов созвал офицеров гвардейского корпуса и, в виду возможных рабочих волнений в городе, выразил уверенность, что «гвардия исполнит свой долг». Офицерство, однако, собравшись уже без Хабалова, и в порядке конфиденциальном, приняло иное решение — в толпу не стрелять. Д. и его друзья, наивно преувеличивая значение революционных организаций того времени, просили меня довести это решение до сведения моих друзей, прибавив только, что офицерство не допустит оскорблений по своему адресу со стороны толпы — в этом случае оно ни за что не отвечает.

Факт этот, как бы единичен и изолирован он ни был, весьма характерен: он ярко иллюстрирует положение и состояние умов и в Питере, и в Петербурге до революции. Видимо то, что случилось потом на фронте и в стране было для России уже с 1915 года чем то фатальным и неотвратимым. Возможна ли была при этих условиях оборона Петербурга, подобная Ленинградской?

Противопоставление Петербурга и Питера дореволюционной России советскому Ленинграду не полемическое и не надуманное. Оно вскрывает радикальное изменение, которое произвела революция в нашей стране. То, что было невозможным в Петербурге, стало возможным в Ленинграде бла-

Н о в о с е л ь е

годаря революции — тому социальному переустройству, которое она произвела, и тому национальному единству, которое она сцементировала. Эмиграция, болеющая душой за Россию, должна, наконец, понять, что именно революция превратила эту войну в дело всего народа России.

Это не официальные реляции и литературные упражнения казенных «перьев», как часто приходится слышать из уст эмигрантских скептиков, а настоящая, повседневная действительность.

Только пережив революцию, Россия могла ответить на германо-фашистское вторжение своей второй отечественной войной. В этой войне Россию спасла революция, а не призрак прошлого.

СЕРГЕЙ БЕРТЕНСОН

ОБРАЗЫ ПРОШЛОГО

Перебирая в памяти впечатления прошлого, я прежде всего вспоминаю двух лиц: Бориса Львовича Модзалевского и Анатолия Федоровича Кони. Первый — выдающийся историк литературы и один из лучших исследователей жизни и творчества Пушкина. Второй — блестящий юрист и государственный деятель, автор книг по разнообразным областям русской культуры. Частые беседы с этими людьми побудили меня избрать темой для труда по истории театра жизнеописание актера Сосницкого.

С детства я привык видеть в фойе Александринского театра бюст прекрасного старика с надписью: «Дед русской сцены». Это был бюст Ивана Ивановича Сосницкого, выдающегося артиста, выступавшего на сценах Императорских петербургских театров в течение шестидесяти лет, с 1811 по 1871 гг. Он был первым Городничим в «Ревизоре», лучшим исполнителем роли Репетилова в «Горе от ума», близким другом Гоголя и Грибоедова и живой летописью русского театра. Я знал, что если мне удастся написать монографию о Сосницком, то она будет до известной степени отражением истории Александринского театра, к которому у меня была привязанность еще со времен моей ранней юности.

Нередко тот или иной вопрос нуждался в раз'яснении лица, авторитет которого был для меня бесспорен. В этом отношении Б. Л. Модзалевский и А. Ф. Кони оказали мне самую ценную помощь.

Б. Л. Модзалевский был одним из тех редких людей, общение с которыми не только обогащает умственный кругозор, но и заставляет верить в духовную красоту человека. Когда я приходил в его служебный кабинет под башней в Академии Наук, или в его квартиру, мне всегда становилось радостно от одного присутствия этого человека. Его глаза так ласково улыбались из под очков в золотой оправе, мягкий голос был так приветлив, все его лицо, обрамленное темной, квадратно подстриженной бородой, было так при-

Новоселье

влекательно... С годами, по мере того, как он старился, в его облике начало появляться что-то иконописное. В его знании Пушкина и пушкинской эпохи не было ни капли скучного педантизма.

Его осведомленность по литературе, истории и различным областям культурной жизни России и западной Европы была совершенно необыкновенна. На любой заданный ему вопрос он отвечал очень быстро. В его обширном домашнем кабинете стен не было видно: все они были заняты книгами. Если требовалась какая-нибудь справка, то он несколько секунд в раздумьи стоял перед полками, затем влезал на прислоненную к ним лестницу, доставал нужную книгу и находил в ней ответ на вопрос. Все это делалось с самым искренним желанием помочь молодым литераторам и ученым, для которых его двери были всегда гостеприимно открыты.

Мне довелось быть свидетелем его многолетних работ по созданию Пушкинского Дома при Академии. Благодаря его неустанным трудам и энергии академиков Н. А. Котляревского и С. Ф. Платонова, Дом этот вырос в единственный в своем роде музей — Пантеон русской литературы, объединенный именем Пушкина.

С чувством величайшей благодарности вспоминаю этого редкого идеалиста, заразившего меня романтизмом своего культа Пушкина...

С А. Ф. Кони у меня связаны воспоминания с детских моих лет. Он был близким другом моих родителей и желанным гостем в нашей семье. Я всегда его любил, но стал относиться к нему более сознательно лишь по мере того, как росла моя духовная жизнь.

Его глубокий ум, острая наблюдательность и необыкновенная образность языка делали из него собеседника исключительного интереса. Юрист по образованию и профессии, он был в то же время первоклассным писателем. Когда он говорил или писал о Пушкине, Достоевском, Толстом, Тургеневе, Гончарове, Грановском, Савиной, Горбунове, Милютине, докторе Гаазе, то их образы и дела раскрывались как живые. Каким блеском ума и остроумия искрились его рассказы у нас дома, за обедом или в гостиной. Разнообразие затрагиваемых им тем было бесконечно: студенческие его годы в Московском университете, судебная деятельность в эпоху вели-

ких преобразований, работа в Сенате, литературные труды и тесные связи с писателями и актерами...

Кони терпеть не мог, чтобы его прерывали. Тогда он раздражался или умолкал.

Припоминаю случай с одной светской барышней, отличавшейся непомерной любознательностью и вечно бегавшей по разным публичным лекциям. Кони читал о жизни и творчестве писателя кн. В. Ф. Одоевского. В своем рассказе он привел цитату из какого то поэта и, произнеся фразу: «как сказал поэт»... запнулся. Было видно, что ему вдруг изменила его замечательная память.

Тогда барышня не нашла ничего лучшего, как громко спросить:

— Какой поэт?

Кони нахмурился, посмотрел на нее и спокойно ответил:

— Один поэт.

Любознательная девица поняла свою бестактность и сконфуженно притихла.

Когда я начал заниматься подбором матерьяла о Сосницком, то Кони предложил мне заходить к нему для бесед о старом Александринском театре. Его семья была театральная: мать была известная актриса И. С. Сандунова, а отец, хотя по образованию и был врачом, но целиком посвятил себя театру. Он был известным театральным критиком и издавал большой театральный журнал «Пантеон». Кроме того, перу его принадлежало много талантливых водевилей.

У Анатолия Федоровича сохранялся весь архив его отца, да и сам он помнил очень много любопытного из театральной хроники старого Петербурга.

У Кони не было домашнего телефона, и чтобы получить свидание, с ним надо было списаться. Отвечал он обыкновенно открытым письмом. На дверях его квартиры висела досочка со словами: «Дома нет», для страховки от непрошенных посетителей. Тот, кому было назначено, не смущаясь этим, звонил. Прислуга открывала дверь, осведомлялась о фамилии пришедшего и провожала в кабинет.

Анатолий Федорович, обычно, сидел за письменным столом и занимался. Он вставал, что было ему нелегко, так как он немного хромал, ласково приветствовал гостя и приглашал сесть в кресло возле стола. Начиналась беседа, во время

которой он доставал из ящиков стола разные старые письма, газетные и журнальные вырезки, программы...

Не раз бывал я в его уютной квартире на Надеждинской улице, в которой пахло сигарами и книгами. Много интересного рассказывал мне Анатолий Федорович о старом Петербурге. В его изложении всегда проникновенно раскрывались те стороны замолкшей жизни, которые придавали ей особую красоту.

Большую часть того, что хранила исключительная память Анатолия Федоровича, он изложил с присущим ему мастерством в своей книге воспоминаний «На жизненном пути». Почитаю себя счастливым, что многое из того, что в ней написано, я слышал раньше из уст самого Кони. Не могу удержаться, чтобы не отметить двух эпизодов, насколько мне известно, в печать не попавших.

Из биографий Тургенева и Гончарова мы знаем, что писатели эти терпеть не могли друг друга. Гончаров завидовал славе Тургенева и в своем озлоблении зашел так далеко, что привлек Тургенева к третейскому суду, обвиняя его в плагиате. Само собой разумеется, что суд кончился в пользу Тургенева. Гончаров продолжал хранить злобу и до такой степени ненавидел Тургенева, что когда Кони, живший вместе с Гончаровым на даче, получил телеграмму о смерти Тургенева и с волнением сообщил ему эту печальную весть, то автор «Обломова» саркастически улыбнулся и сказал:

— Притворяется!...

Другой рассказ Кони связан с его деятельностью в Государственном Совете. Рассматривался законопроект об изменении судопроизводства. Законопроект был сложный и требовал внимательного и длительного постатейного обсуждения, в котором принимали участие видные юристы. Входившие в состав членов Государственного Совета три адмирала высказывали соображение, что самое важное — это ускорить судопроизводство. Тогда Кони не выдержал и с присущей ему иронией сказал:

— Ваши превосходительства! Я боюсь, что вы изволите смешивать судопроизводство с судоходством, в котором скорость играет очень важную роль...

От Кони мысль моя невольно переходит к замечательной актрисе Марии Гавриловне Савиной, талант которой срок один год украшал сцену Александринского театра. Кони

был глубоким почитателем и ее сценического таланта, и ее выдающейся личности. Они были связаны дружбой многих лет и их роднила общность преклонения перед Тургеневым.

Театралы, жившие в эпоху расцвета таланта Савиной, называли ее «Чародейкой Русской Сцены», после того, как она сыграла известную драму Шпагинского «Чародейка». И действительно, она имела полное право на подобное прозвище. Она чаровала, несмотря на то, что в ее наружности не было ничего, за что можно было назвать ее красивой. И только глаза ее отражали малейшее движение души.

В ней было очень сильно сценическое обаяние. С первого же появления на сцене она целиком завладевала зрителем. Главная ее сила была в комедии, в которой она, по старому театральному выражению, «кружева плела». Все было правдиво и убедительно и полно неизъяснимой прелести.

Мое личное знакомство с Марией Гавриловной началось в 1904 году, когда я еще был студентом первого курса. Впервые попал я к ней в дом через моего старшего брата, доктора, который был одним из ассистентов отца и иногда заменял его у Савиной. Брату одно время приходилось довольно часто навещать ее, и он попросил у нее разрешения привезти меня как нибудь с собой, как завязатого театрала и поклонника ее таланта.

Помню, как с бьющимся сердцем я поднимался с братом по лестнице дома № 34 на Фонтанке. Брат позвонил, и когда отворилась дверь, то на площадку вышла немолодая горничная с умным и энергичным лицом и загородила собой дверь. Это была знаменитая камеристка Марии Гавриловны — Василиса, верная спутница Савиной, с которой считались не только ее друзья, но и авторы и режиссеры.

Узнав брата, она ласково улыбувшись, сказала: — Пожалуйте! и привела нас в гостиную.

— А, братья разбойники, раздался такой знакомый по сцене голос, и из соседней комнаты к нам вышла Мария Гавриловна. Ее карие глаза ласково улыбались. Мое смущение моментально исчезло, разговор завязался легко, и я с восхищением слушал блестящую речь Савиной, ее колкие характеристики и образные описания.

Мне невольно вспомнилось, что говорил про нее старик — писатель Д. В. Григорович, большой ее почитатель:

— У Марии Гавриловны всегда под язычком яд.

Однако, ядовитая на словах Савина обладала редким по отзывчивости сердцем и большую половину своего времени отдавала попечениям о других, особенно горячо заботясь об улучшении жизни неимущих актеров. Она устраивала благотворительные вечера и спектакли, сама постоянно участвуя в них, вечно торопилась куда то.

Так было и сейчас. Она рассказывала нам об одном большом вечере, который ею организовывался, и жаловалась на то, что у управляющего труппой Александринского театра, как у Хлестакова, «легкость в мыслях необычайная».

Когда мы стали прощаться, она любезно разрешила мне бывать у нее запросто, без всяких приглашений. С этого дня началась моя дружба с Марией Гавриловной, которая никогда не прерывалась до последних дней ее жизни, и о которой я всегда вспоминаю с большим счастьем и душевной теплотой.

Среди моих многочисленных встреч с нею, самая яркая связана с именем Тургенева. Как то, на одном из очередных вечеров у редактора «Ежегодника Императорских Театров» бар. Н. В. Дризена, Мария Гавриловна сказала мне:

— Я знаю, что вы большой почитатель Тургенева. Приезжайте ко мне на будущей неделе вечером вместе с Екатериной Павловной. Я хочу вам почитать о Тургеневе. О дне и часе сговоримся по телефону.

Екатерина Павловна, вдова профессора Султанова, была известна в беллетристической литературе под именем Екатерины Летковой. Она была старым другом нашей семьи и большой приятельницей Савиной.

Мы сговорились о дне нашего свидания и отправились к Марии Гавриловне.

Дело было поздней осенью, во время одного из петербургских наводнений. Дул страшный ветер, Нева вздувалась и пенилась, грозила каждую минуту выйти из берегов.

Василиса приветствовала нас как добрых друзей и сказала:

— Пожалуйста, Мария Гавриловна ждет вас у себя наверху.

Савина встретила нас в небольшом будуаре, который она называла «моя светелка». В нем она проводила свои рабочие часы, занималась ролями, писала, читала. Она сказала:

— Тут удобнее и никто не будет мешать нам. Холодный

ужин приготовлен здесь же. Когда захочется есть — закусим, никуда не выходя.

Она достала несколько небольших синих тетрадей, исписанных ее мелким почерком, и начала читать. Иногда чтение ее прерывалось рассказом. Или, вернее, это был не рассказ, а самое вдохновенное переживание прошлого: она вставала, ходила по комнате, снова садилась и говорила, иллюстрируя речь жестами своих выразительных рук.

Большая часть того, о чем она говорила нам в тот вечер, напечатано в книге «Тургенев и Савина», выпущенной через два года после ее кончины. Но тогда все это было ново и почти никому неизвестно. Савина долго и ревниво хранила в тайне драгоценные для нее воспоминания о Тургеневе. Ее друзья знали, что между нею и Тургеневым была переписка, но никто никогда писем этих не видал.

Когда в 1909 году по случаю исполнившегося двадцатипятилетия со дня кончины Тургенева, Академия Наук устраивала в своих залах юбилейную выставку, и комитет обратился к Савиной с просьбой дать для выставки письма, то она решительно отказалась. Отказ свой она мотивировала тем, что письма имеют слишком личный характер.

Кто то выразил сомнение, существуют ли вообще эти письма. Слух об этом дошел до Марии Гавриловны. В ответ она прислала в Академию Наук большую черную раму, под стеклом которой были разложены все конверты Тургеневских писем, адресованных ей рукою Ивана Сергеевича. Рама эта привлекала всеобщее внимание на выставке.

То, о чем читала и рассказывала нам Мария Гавриловна, было так необычайно, мы, слушатели, так проникнуты ее взволнованностью, что окружающая нас обстановка исчезла. Мы видели перед собой юную артистку, только что сыгравшую Верочку в «Месяце в деревне», к которой за кулисами Александринского театра подошел сам автор и глядя ей в глаза сказал:

— Неужели эту Верочку я написал? Вы — живая Верочка. Какой у вас большой талант.

В восторге от похвалы, она бросилась ему на шею...

Мы видели всю картину достопамятного вечера в пользу Литературного Фонда, когда Савина читала вместе с Тургеневым сцену из «Провинциалки», и очарованная публика восторженно приветствовала любимого автора и артистку.

Новоселье

Перед нашими глазами была терраса дома Тургенева в его имении Спасское, где он после ужина читал гостившим у него Савиной и поэту Я. П. Полонскому только что законченную им «Песнь торжествующей любви».

Полонскому рассказ не понравился и он советовал автору не печатать его. Тургенев расстроился, но чтобы не показывать истинного своего настроения, сказал Савиной:

— Ну, они ничего не понимают. Пойдем лучше слушать ночные голоса.

И увел ее в сад. Там они гуляли долго, долго, пока не стали просыпаться птицы.

Когда Савина закончила свое чтение, было пять часов утра. А нам казалось, что мы только что приступили к слушанию.

Мы вышли на улицу. Ветер утих и наводнение пошло на убыль. По дороге домой мы не могли ни о чем говорить. Не хотелось прерывать только что пережитого. Я не замечал полутемных петербургских улиц, в моих ушах все еще звучали «ночные голоса», которые слушали в Орловском лесу Тургенев и Савина...

ЗАЩИТНИКИ ЛЕНИНГРАДА

Он лежит в госпитале Ньюарка. Под серым одеялом с'ежилось его худенькое тело. У него четыре раны. Он получил их при защите Ленинграда. Ему 18 лет.

Нет, он не герой, этот маленький козачок из под Ростова, и не считает себя героем. Он, как все, и рассказ его о пережитом прост и непритязателен. Константину Константинову было 16 лет, когда грянула война. Он жил тогда со своими родными в Ленинграде, и едва дождался дня, когда ему, наконец, исполнилось 17, чтоб записаться добровольцем. Старший брат его в армии Тимошенко, младший на аэродроме возле Ленинграда, мать — на оружейном заводе, 27-летний муж сестры — летчик, сбивший в один день девять немецких истребителей. Таких семей — тысячи.

Войну Константинов начал во флоте. Его послали в Эстонию на борту парохода, который должен был эвакуировать беженцев из Ревеля. Для всех места не хватило, на берегу осталось 400 человек морской пехоты, которым предстояло пробиваться в Ленинград по суше. Константинов присоединился к ним. Десять дней продолжался поход с боем. Сто человек полегло, триста дошло, измученные, в лихорадке от болотной воды, исхудавшие от лишений и голода. А затем — минный батальон и непрерывное сражение под Ленинградом, в огненном аду бомб и снарядов. У Волховстроя 600 немцев, маршируя, как на параде, атаковали отряд русских, едва насчитывавших 200 человек. У наших был один пулемет, команда была вскоре выбита германским огнем. Тогда Константинов бросился к пулемету и начал в упор стрелять по немцам, бывшим в ста ярдах от него. Он посылал очередь за очередью во врага, и колонна штурмовиков дрогнула, остановилась, попятилась. Пулемет 17-летнего мальчика заставил их отступить, оставив на месте боя 74 труп. Константинов сам не понимал, что сделал, у него болели руки, судорожно сжимавшие рукоятку пулемета, колени его дрожали, он чувствовал холод и слабость, и когда наши ворвались в германские

Новоселье

позиции, он все искал немецкой походной кухни — чтоб подкрепиться. А через две недели он и верить не хотел, что его наградили орденом Красного Знамени: что ж тут особенного, отбил атаку, и все тут!

Потом он был на передовых позициях под Ленинградом со своим товарищем телефонистом, Василием Ивановичем, веселым человеком, любившим и пошутить и песню спеть. О своем 17-летнем товарище он заботился, как отец родной, и Константинов очень его полюбил. Когда Константинову прострелили ногу, Василий Иванович очень огорчился. Но после двух недель в полевом госпитале, Константинов вернулся на фронт, и снова начал воевать бок о бок с веселым приятелем. И тут в Константинова попали осколки снаряда. Опять пришлось ложиться в госпиталь. Он едва выдержал в нем пять дней, но когда доктора сказали, что придется еще побыть с неделю, Константинов попросту сбежал: нельзя было прохладиться в тылу, когда немцы наступали на Ленинград.

Третья рана оказалась самой серьезной. На этот раз осколок величиной в кулак попал в левую ногу. Василий Иванович забинтовал ее как мог, взвалил Константинова на плечи и понес на операционный пункт, за четыре версты от линии огня.

Через двадцать дней Константинов снова был на своем посту. Но счастье изменило ему: его опять ранило разрывом бомбы в ту же ногу. Василия Ивановича на этот раз не оказалось, и раненый должен был выбираться ползком из траншеи и тащиться две версты, пока его не подобрала. Выпустили его из госпиталя через три месяца, после четырех переливаний крови и сложных операций. Один осколок вытащить не удалось, и Константинов остался хромым и был признан негодным для военной службы. Но он так упрашивал своего командира, что его послали в Архангельск и Мурманск, где ему удалось устроиться пулеметчиком на советском торговом судне, отплывавшем в Америку. По дороге испытал он атаки немецких бомбовозов и подводных лодок. Во время пребывания в Соединенных Штатах Константинов подлечился немного от ран, и все говорил, что море — не его специальность: как вернется в Мурманск, тотчас начнет хлопоты, чтобы снова попасть в пехоту, и непременно на свой, ленинградский фронт. Он теперь взрослый, ему 18 лет, а что касается осколка в ноге, то он его почти и не чувствует. Одна только

забота: где то теперь Василий Иванович? Все еще передает по телефону сообщения советским батареям, под обстрелом врага, или может быть ранен или даже убит? Но если он жив, Константинов хочет быть рядом с ним, место его там, среди людей, двадцать месяцев отстаивающих грудью неприступный город Ленинград.

Валентине Орликовой 28 лет. У нее смуглое тонкое лицо, умные зеленые глаза, стройная фигурка маленькой женщины-подростка. Муж ее — помощник капитана на советском торговом судне. За время войны она видела его только раз, случайно встретились в северном порту и провели вместе несколько часов. Маленький сын их остался в местности, оккупированной немцами. Орликова рассталась с ним двадцать два месяца тому назад. Что с ним, жив ли он — она не знает. О судьбе его думает она во время долгих морских переходов, под угрозой немецких мин и бомб: Орликова, окончившая Судостроительный Институт в Ленинграде — второй помощник капитана на судне торгового флота, поддерживающем связь между Америкой и Россией.

Когда немцы бросили на Ленинград 600 тысячную армию, 1000 танков, 1000 самолетов, 19 тысяч пулеметов, 6 тысяч пушек и 4 с половиной тысячи мортир, когда бой кипел на суше, в воздухе и на море, Орликова была помощником капитана на госпитальном судне в Балтийском море. Флаг Красного Креста не помешал немцам пустить мину в пловучий госпиталь, и Орликова распоряжалась спасением раненых и экипажа, когда пароход начал тонуть. Она не была единственной женщиной на борту: там находились не только сестры милосердия, но и женщины моряки, спасавшие погибавших со спокойной отвагой и презрением к смерти.

Флот защищал подступы к осажденному Ленинграду, и много бессонных ночей провела Орликова на капитанском мостике, под взрывами воющих бомб и обстрелом тяжелых орудий, много видела крови и ужаса. Вместе с другими защитниками города, принимала она участие в опасных экспедициях и отчаянном, бесконечном сопротивлении — в мороз и вьюгу, в дождь и ветер. И рядом с ней были ее подруги, ее боевые товарищи — и она была, как они, простая, незаметная, со

стальной волей и горячим сердцем под нежной оболочкой мягкой женственности.

Когда она приехала в Америку, многие с изумлением смотрели на эту хрупкую с виду, маленькую и прелестную молодую женщину и все спрашивали ее, как она могла по доброй воле избрать такую страшную, полную опасностей жизнь, расстаться с мужем, близкими, семьей. «Как я могла поступить иначе, — отвечала она: — моя родина дала мне все, и я чувствую, что и я должна все отдать ей в минуту величайшей для нее опасности. И я должна делать то, что я лучше всего умею — быть моряком. Я отдам свою жизнь за родину без всякого колебания. Если сын мой жив, я знаю, что родина воспитает его и сделает его достойным носить гордое имя советского гражданина. Поэтому я могу без боязни идти навстречу смерти».

Советскому партизану Михаилу Иванову 28 лет. У него хорошее открытое русское лицо, но порою глаза его омрачаются, он хмурится, точно вспоминает то, что видел совсем недавно, в лесах под Ленинградом и в разоренном городе, его родине. Он один из тех, кто днем прятался в ямах и лесных тайниках, а по ночам выходил на борьбу с немцами, охватившими железным кольцом северную столицу. Они бросали гранаты и здания, занятые неприятелем, совершали набеги на германские штабы, нападали на отряды и обозы, перерезывали коммуникационные линии, доставляли сведения о движениях врага в осажденный город.

В Ленинграде видели они улицы, искалеченные бомбардировкой, разрушенный вход в Эрмитаж, Сквер Труда, прозванный Сквером Смерти, потому что на него беспрерывно падали бомбы и снаряды, они помогали тушить пожары, вспыхивавшие после воздушных налетов и на Невском, и на Васильевском острове, и на Фонтанке. Они по ночам встречали отряды комсомольцев, расчищавших улицы от снега и приносивших жителям воду из прорубей, потому что водопровод замерз или был разрушен бомбардировкой. Две тысячи юношей и девушек были мобилизованы, чтобы доставать воду из Невы и Ладожского озера, и они были так истощены от недоедания, что могли приносить не более двух ведер каждый.

Тем, кто совсем обессиливал, делали впрыскивания сосновым соком.

Когда кончилась первая кошмарная ленинградская зима, триста тысяч человек вышло очищать улицы от тающего снега и нечистот, которые могли вызвать эпидемии. Двести семьдесят тысяч семейств засеяли овощами всю свободную землю, чтобы обеспечить хоть немного пищи защитникам Ленинграда. С фабрик и заводов, после 11 часового рабочего дня, толпы мужчин и женщин отправлялись на окраины строить укрепления и сражаться с врагом. Из каждого дома шли добровольцы на позиции. Дети и подростки тащили на тележках продовольствие и снаряды для солдат. И с мрачной, сосредоточенной решимостью направлялись колонны красноармейцев туда, где грохотала земля, пламенело небо, и где ночь и день шло исполненное сражение за город, который, как один человек, поднялся на борьбу с жестоким и беспощадным завоевателем.

По этим случайным встречам с советскими людьми, на краткий срок попавшими в Америку, мы судим о защитниках Ленинграда. Это они, тысячи Константиновых, Ивановых и Орликовых борются и умирают в осажденном городе. Это они в мятель и мороз расчистили единственную дорогу через Ладожское озеро, связавшую Ленинград в прошлом году с Россией, жили в ледяных домах, чтобы показывать по ночам путь грузовикам, привозившим продовольствие, и отправляли их обратно, на далекую родину, со снарядами и вооружением, изготовленными на ленинградских заводах. Это они, живя в нетопленных комнатах, без света, на пайке жидкого супа и четверти хлеба фунта в день, работая, не покидая рук, находили возможность учиться, поддерживать университет, который за время осады окончило 2500 человек, издавать сто тысяч экземпляров «Войны и мира» Толстого и посылать артистов для 20 тысяч выступлений на фронте. Это они устраивали госпитали и питательные пункты, выходили рубить деревья на топливо для больных, помогали старикам и детям, рыли убежища и покрывали досками и мешками с песком фальконетовскую статую Петра и сокровища петербургского искусства. Это они не пали духом, все вынесли, все вытерпели, от-

Н о в о с е л ь е

били сотни атак, отразили чудовищный напор моторизованных дивизий, и защитили родную землю.

Сейчас в Ленинграде опять наступила весна, и снова томительно светлые ночи раскинутся над Невой, набережными и островами. В их призрачном свете встанут вековые громады, свидетели бывшего великолепия и нынешней славы. Их не осквернит волна вражеского нашествия. Защитники Ленинграда — те, чьи имена мы узнали, и сотни тысяч других, безвестных, погибших и живых, отстояли свой прекрасный и бесмертный город.

ВЕЧЕР „НОВОСЕЛЬЯ“

Разнообразно и содержательно составлена была программа вечера «Новоселья», устроенного редакцией журнала и «Обществом Приехавших из Европы».

В литературной его части выступили В. Лебедев с интересной речью, сказала «Слово о Петербурге» Ю. Сазонова, прочла отрывок из своих воспоминаний «о Петербурге-Ленинграде» И. Кунина, произнес речь и прочел Советские стихи о Ленинграде и стихи Софии Прегель Марк Солним. М. Добужинский не смог по болезни прочесть свой доклад об архитектуре Петербурга.

В музыкальной части программы выступила артистка Русской Оперы г-жа Алверс, очень хорошо исполнившая романсы Римского - Корсакова, Чайковского, и особенно удачно романс Полины из «Пиковой Дамы».

Артист Русской Оперы И. Тамарин прекрасно исполнил Песню Мусоргского, романс Глинки и несколько вещей Артура Лурье на слова Пушкина и Лермонтова. Строгая, благородная и такая пушкинская по своей целомудренной красоте музыка Лурье была передана талантливым певцом с большим музыкальным вкусом и мягким звучанием красивого голоса. У

рожая был А. Лурье; в его исполнении Фортепианная партия была передана с редкой прелестью оттенков и придавала особое очарование этому вокально - инструментальному дуэту.

Хореографическая часть была блестяще поставлена балетмейстером Романовым. Хорошо исполнила Алиса Никитина, на мотив частушек, удалую деревенскую пляску, и очень интересно задумана пластическая интерпретация Баха.

С большим бrio и грацией танцевала г-жа Светлова соло и па-де-де «Хореографической Фантазии» на музыку Саца с артистом Метрополитен Опера Грант Мурадовым. Разнообразное и богатое новыми сочетаниями движений, их исполнение пленяло изяществом, гибкостью, виртуозной легкостью не только в элевации, но и в партнерных па — и тут балетмейстером была искусно использована необычайная техника Грант Мурадова, воскрешающая в современном стиле, древних «кубистетеров», которые некогда могли, стоя на голове, создавать движениями ног чарующие позы, запечатленные на античных рисунках. В «Хореографической Фантазии» умело примененная техника «кубистетеров» дала в

Новоселье

сочетании с обычной балетной неожиданные и прекрасные эффекты.

Замечательны были костюмы Добужинского, расписанные художником, — зеленый муж-

ской костюм с чудесными оттенками был истинным шедевром, и прелестны были женские костюмы.

Публики было очень много.

ПОПРАВКА

В «Музыкальной Копилке» Андрея Седых, помещенной в прошлом номере «Новоселья» сказано, что Лядов был «духовным отцом» Александра Тихоновича Гречанинова.

Маститый композитор указал нам, что «духовными отцами» его были Чайковский, Бородин, Римский-Корсаков и Мусоргский;

позже пришли Дебюсси, Равель, Гуго Вольф.

Очаровательные детские песенки Лядова имели некоторое влияние на работы А. Т. Гречанинова в этой же области, но только этой, сравнительно узкой частью творчества А. Т. Гречанинова, ограничилось его духовное родство с Лядовым.

FOR VICTORY

BUY
UNITED STATES
WAR SAVINGS BOND AND STAMPS



317

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА КНИГУ

М. О. ЦЕТЛИНА

ПЯТЕРО И ДРУГИЕ

(МОГУЧАЯ КУЧКА)

посвященную жизни великих русских композиторов
(только несколько глав были напечатаны в журналах).

Цена по предварительной подписке 1.75 дол.
(по выходе книги 2.25).

Подписную плату (чеком или моней ордер) просят
направлять по адресу:

M-rs M. E. ZETLIN

267 West 70 Street

New York City

International Book Service

Mrs K. N. ROSEN

P. O. B. 227

CROTON-ON-HUDSON, N. Y.

Книги о России на русском, английском и французском языках
Литература, история литературы, искусство, политика, экономика, история, театр, балет, словари, грамматики.

ПОДБОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ДАННОМУ ЗАДАНИЮ
особенно по творчеству отдельных писателей и художников
Составление библиотек

RUSSIAN ART SHOP

103 West 56th Street, N. Y. C.

Telephone Circle 7-2131

Картины русских художников, гравюры, литографии, лубки.

Художественные изделия, русские куклы.

Прием подписок на русские газеты и журналы.

Прием объявлений в русские и американские издания.

Продажа билетов на русские спектакли и концерты.

Составление библиотек.

Для удобства читателей «НОВОСЕЛЬЯ»

Подписка на Журнал также будет приниматься

Д-ром А. ЛОМБАРД 229 West 97 Str., Phone: ACademy 4-0610

'NOVOSSELYE'
A RUSSIAN LITERARY MONTHLY

Editorial & Administrative Offices:

S. PREGEL - BREYNER,

2 EAST 86 STREET, N. Y. C.

Rhineland 4-1800

„НОВОСЕЛЪЕ“

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

под редакцией С. ПРЕГЕЛЬ

Подписная плата:

В Соединенных Штатах: на один год — \$3.50, на шесть месяцев — \$2.00; в Канаде: на один год — \$4.50, на шесть месяцев — \$2.50.

Цена номера в розничной продаже —
35 центов.

Подписка и объявления принимаются в конторе журнала. Рукописи, посылаемые в редакцию, должны быть переписаны на машинке на одной стороне листа. Непринятые рукописи не возвращаются.

Адрес редакции и конторы:

S. PREGEL-BREYNER, 2 EAST 86th STREET, NEW YORK CITY

Tel.: Rhineland 4-1800

ЦЕНА НОМЕРА
35 ЦЕНТОВ
